

Глаза мертвецов

*Антология ирландских
рассказов о призраках*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Данная антология ирландского рассказа посвящена фольклорным историям о призраках, «добром народе» и других обитателях потустороннего мира. В ее состав вошли наиболее яркие произведения данного жанра, созданные ирландскими писателями конца XIX — начала XX вв. Рассказы и новеллы сборника повествуют о загадочных, зловещих и необъяснимых событиях, о вмешательстве демонических сил в ход земного бытия, о тайнах родовых проклятий и мести разгневанных призраков. Это оригинальный сплав кельтского фольклора, викторианской готической прозы и местного ирландского колорита.

Содержание:

Брэм Стокер: Дом судьи (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Дэниел Коркери: Глаза мертвецов (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Дороти Макардл: Узник (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Ребенок, похищенный фэйри (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Белая кошка, проклятие Драмганниола (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню: Алтер де Лейси (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Истории озера Лох-Гур (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Странное событие из жизни художника Схалкена (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Участь сэра Роберта Ардаха (*отрывок, перевод: Вера Ахтырская*)

Джозеф Шеридан Ле Фаню Страница истории одного семейства из графства Тирон (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Гермини Каванах: Дарби О'Гилл и лепрехаун (*рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Дэвид Рассел Макэнелли-младший: Могильщик из Кэшела (*повесть/рассказ, перевод: Вера Ахтырская*)

Иллюстрация на обложке — фрагмент картины Дж. У. Уотерхауса.

ГЛАЗА МЕРТВЕЦОВ

Антология ирландских рассказов о призраках

Антология

Авторы: Брэм Стокер, Дэниел Коркери, Дороти Макардл,
Джозеф Шеридан Ле Фаню, Германи Каванах, Дэвид Рассел Макэнелли

Составитель: *Вера Ахтырская*

© Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2008 г.

* * *

Брэм Стокер

ДОМ СУДЬИ

Когда подошло время экзамена, Малколм Малколмсон задумал где-нибудь укрыться, чтобы никто не мешал его занятиям. Его пугали увеселения и рассеяние приморских городов, да и сельское уединение внушало ему опасения, ибо он издавна знал его прелесть, и потому юноша решил найти какой-нибудь тихий маленький городок, где ничто не станет его отвлекать. Малколм не посвятил друзей в свои замыслы, полагая, что все они посоветуют ему места, где они не раз бывали и где его примутся осаждают их бесчисленные знакомые. Избегая общества друзей, Малколмсон стремился избавиться от докучного внимания и оттого стал искать укромное место, не прибегая к чьей-либо помощи. Он уложил в чемодан одежду и все необходимые учебники и справочники, а потом взял билет до первой незнакомой станции в расписании местных поездов.

Выйдя спустя три часа на перрон в Бенчёрче, он испытал истинное удовлетворение, так как уничтожил все следы и мог спокойно предаваться ученым занятиям, не опасаясь непрошеного вторжения. Он напрямик направился в единственную гостиницу городка и остановился там на ночь. В Бенчёрче устраивались ярмарки, и потому раз в три недели его переполняла шумная толпа, но в остальное время он был уныл, как пустыня. На следующий день Малколмсон принялся искать пристанище еще более уединенное, чем тихая гостиница «Добрый странник». В городе ему приглянулся лишь один дом, без сомнения воплощавший самые безумные представления о тишине и покое; на самом деле его даже нельзя было назвать тихим — в полной мере описать степень его уединенности мог лишь эпитет «заброшенный». Дом этот был старый, со множеством пристроек, приземистый, в стиле короля Якова^[1], с тяжеловесными фронтонами и необычайно маленькими и узкими оконными проемами, каких обыкновенно не встретишь в домах тех времен, окруженный высокой и толстой кирпичной стеной. При ближайшем рассмотрении он походил более на крепость, чем на обычное жилище. Но все это пришлось Малколмсону весьма по вкусу. «Именно такое место я искал, — думал он, — и если только смогу здесь поселиться, мне выпала неслыханная удача». Он обрадовался еще более, услышав, что сейчас в нем никто не живет.

На почте он узнал имя агента по найму, который чрезвычайно удивился, когда Малколмсон попросил снять для него часть старого здания. Мистер Карнфорд, местный адвокат и агент по продаже и найму недвижимости, был добродушным старым джентльменом и не скрывал своей радости, что наконец нашелся желающий пожить в этом доме.

— Сказать по правде, — заметил он, — я бы только порадовался за его владельцев, если бы его сдали на несколько лет, не взимая решительно никакой платы, хотя бы для того, чтобы местные жители привыкли видеть его обитаемым. Он так долго пустовал, что нынче о нем ходят нелепые и фантастические слухи, развеять которые может лишь появление жильцов, пусть даже, — тут он лукаво покосился на Малколмсона, — ученого вроде вас, которому пока потребно уединение.

Малколмсон не стал расспрашивать агента о «нелепых и фантастических слухах»; он знал, что, если только захочет, сможет разузнать о них от других. Он внес арендную плату за

три месяца, получил расписку и совет нанять старушку, которая согласится у него «прибираться», и ушел восвояси с ключами в кармане. Потом он разыскал хозяйку гостиницы, приветливую и любезную женщину, и осведомился у нее о лавках, где продавались съестные припасы, в которых могла возникнуть нужда. Узнав, где он намерен поселиться, она ошеломленно всплеснула руками.

— Только не в Доме судьи! — воскликнула она, побледнев.

Студент описал ей местоположение дома, прибавив, что не знает его названия. Выслушав его, она ответила:

— Да, точно, тот самый дом... Тот самый... Дом судьи...

Малколмсон попросил ее рассказать, что это за дом, откуда взялось такое название и почему о нем ходит дурная слава. Хозяйка гостиницы пояснила, что так повелось исстари, ведь давным-давно, лет сто назад или больше — сама она точно сказать не может, она ведь родом из другой части графства, — дом этот принадлежал судье, внушавшему ужас своими суровыми приговорами и проявлявшему необъяснимую жестокость к обвиняемым во время выездных сессий суда присяжных. Почему сам дом снискал дурную славу, она толком не знает. Ей и самой хотелось бы выяснить, но никто никогда не мог удовлетворить ее любопытство: все сходились лишь на том, что с этим домом что-то нечисто, а сама она даже за все золото банкира Дринкуотера не согласилась бы провести там в одиночестве и часа. Потом она попросила у Малколмсона извинения за докучливую болтовню:

— Ни мне, ни вам, сэр, молодому джентльмену, — вы уж простите меня за то, что я говорю с вами напрямик, без всяких церемоний, — точно не следовало жить там в одиночестве. Будь вы моим сыном — и не сердитесь, сэр, за излишнюю короткость, — я ни за что не позволила бы вам даже переночевать там, разве что я отправилась бы туда сама и стала бы звонить в большой набатный колокол на крыше!

Добрая женщина убеждала его столь серьезно, с такими искренними намерениями, что, хотя это и позабавило Малколмсона, в душе он был тронут. Он любезно поблагодарил ее за заботу и добавил:

— Помилуйте, миссис Уизем, вам ни к чему обо мне тревожиться! Человек, который готовится к экзамену по математике для получения отличия в Кембридже, слишком занят, чтобы придавать значение таинственным слухам, а труд его слишком точен, прозаичен и сух, чтобы уступить всяким нелепостям хотя бы гран рассудка. Мне загадок хватит в гармонической прогрессии, преобразованиях, комбинациях и эллиптических функциях!

Миссис Уизем любезно предложила приглядеть за тем, как доставляют его заказы, а сам он отправился на поиски старушки, которую ему порекомендовали. Вернувшись с ней спустя несколько часов в Дом судьи, он обнаружил, что миссис Уизем ждет его в окружении местных мужчин и юнцов, нагруженных тюками и свертками. Тут же возвышалась кровать, привезенная приказчиком из обойного магазина, поскольку миссис Уизем решила, что если прежние столы и стулья еще сгодятся, то в постели, не проветривавшейся, должно быть, лет пятьдесят, молодому человеку спать не пристало. Ей явно не терпелось увидеть, что же там внутри, и хотя она так боялась привидений и домовых, по слухам обитавших в доме, что при малейшем шорохе хваталась за руку Малколмсона, от которого не отходила ни на шаг, все-таки обошла весь дом снизу доверху.

Осмотрев дом, Малколмсон решил обосноваться в парадной столовой, достаточно просторной, чтобы разместиться в ней со всеми удобствами, а миссис Уизем с помощью уборщицы, миссис Демпстер, занялась обустройством жилья. Когда гостиничные слуги

внесли в дом корзины и стали разбирать их содержимое, Малколмсон увидел, что заботливая миссис Уизем предусмотрительно прислала ему из собственной кухни провизию, которой хватит на несколько дней. Уходя, она пожелала Малколмсону всех благ, а на пороге обернулась и сказала:

— Да, чуть не забыла, в этой комнате так пусто и гуляют такие сквозняки, сэр, что, пожалуй, ночью стоит загородить кровать ширмой, хотя, сказать по правде, я бы скорее умерла, чем осталась здесь одна со всей этой нечистью. Она, чего доброго, еще станет выглядывать из-за ширмы — и по бокам, и сверху, — так и вопьется в меня глазами!

Образ, нарисованный собственным воображением, настолько ее потряс, что она немедленно бросилась вон.

Едва за хозяйкой гостиницы захлопнулась дверь, как миссис Демпстер пренебрежительно фыркнула и объявила, что не боится привидений и домовых всего королевства, вместе взятых.

— Я скажу вам, сэр, — продолжала она, — привидения и домовые — это что угодно, только не привидения и домовые. Это крысы, мыши, тараканы, скрипучие двери, расшатавшаяся черепица, разбитые оконные стекла, тугие ящики комода — вы выдвинули их днем, а они встают на место посреди ночи. Посмотрите, какие здесь панели! Им же лет сто, не меньше! Неужели вы думаете, что за ними не обосновалась армия крыс и тараканов? И что же, сэр, по-вашему, они и носа не покажут? Крысы — вот какие здесь привидения, скажу я вам, тут и думать нечего!

— Миссис Демпстер, — серьезно сказал Малколмсон, почтительно поклонившись, — ученостью вы превзойдете лучшего выпускника Кембриджа! Позвольте заметить, что, отдавая дань вашему трезвому уму и бесстрашию, я, уезжая, предоставлю вам этот дом в полное распоряжение на два месяца, пока не истечет срок трехмесячной аренды, поскольку для моих целей хватит и месяца.

— Благодарю вас, сэр! — воскликнула она. — Но я обязана ночевать под крышей Дома призрения Гринхау, таков закон. Если я не появлюсь к вечеру в Доме призрения нуждающихся женщин, основанном мистером Гринхау, то лишусь всех средств к существованию. Правила там строги, а потом, целые толпы старух жадно следят за мной и только и ждут, когда же освободится место, так что я не стану рисковать. Если бы не это, сэр, я бы с радостью переселилась сюда и прислуживала вам до самого отъезда.

— Дорогая моя, — поспешно вставил Малколмсон, — я приехал сюда с намерением побыть в одиночестве, и поверьте, преисполнен благодарности к покойному Гринхау и его замечательному детищу и вовсе не хочу вводить вас в искушение! Сам святой Антоний не мог бы столь неукоснительно держаться правил!

Миссис Демпстер глухо рассмеялась:

— Все вы такие, молодые джентльмены, ничего-то вы не боитесь. Что ж, может быть, и найдете вы тут одиночество, как вам того хотелось.

С этими словами она занялась уборкой, и к вечеру, когда Малколмсон вернулся с прогулки — а он всегда брал с собой учебник, чтобы повторять что-нибудь по дороге, — комната была чисто выметена и прибрана, в старом камине горел огонь, лампа зажжена, а на накрытом столе благодаря заботливости миссис Уизем его ждал роскошный ужин. «Вот это жизнь», — сказал он себе, потирая руки.

Поужинав, он перенес поднос на дальний конец дубового обеденного стола, снова достал книги, подбросил в огонь поленьев, подрезал фитиль лампы и основательно принялся

за работу, притом за работу не из легких. Он не отрывался от занятий примерно до одиннадцати, а потом решил отдохнуть, заодно развести затухающий огонь, заправить лампу маслом и заварить себе чаю. Он всегда любил крепкий чай, а в годы учебы в университете, допоздна засиживаясь над книгами, привык выпивать по несколько чашек. Нынешний отдых был для него истинной роскошью, и он наслаждался им со сладострастием эпикурейца. Огонь в камине снова взметнулся и заискрился, отбрасывая причудливые тени на стенах великолепной старинной комнаты, а Малколмсон, смакуя чай, радовался уединению. И тут он впервые заметил, какой шум подняли крысы.

«Но не могли же они, — подумал он, — так возиться все время, пока я работал, иначе я бы их услышал!» Спустя минуту, когда возня крыс сделалась еще громче, он все-таки стал склоняться к мысли, что прежде они так не шумели. Вначале крыс явно пугало присутствие человека, огонь камина и лампы, но мало-помалу они осмелели и теперь резвились как ни в чем не бывало.

Какую возню они подняли! Как странно попискивали! Как носились вверх-вниз за панелями, по потолку и под полом, как шумно грызли старое дерево и скреблись! Малколмсон слегка улыбнулся, вспомнив, как миссис Демпстер приговаривала: «Да крысы все ваши привидения и домовые, крысы, и ничего больше!» Чай постепенно прояснил его ум и взбодрил дух, он с радостью предвкушал плодотворную работу до утра и, преисполнившись после выпитого чая спокойствия и уверенности, позволил себе оторваться от занятий и как следует осмотреть комнату. С лампой в руках он обошел столовую, дивясь тому, что старый дом, столь прекрасный и столь искусно отделанный, мог так долго пустовать. Дубовые панели украшала тонкая резьба, особенно изящная и затейливая на дверях и ставнях, вдоль дверных косяков и в оконных нишах. На стенах висели несколько старинных картин, но их покрывал такой слой пыли и грязи, что разглядеть их было решительно невозможно, как ни поднимал он над головой лампу. Обходя комнату, он то и дело замечал крысиную мордочку с поблескивающими в свете лампы глазками, показавшуюся из щели или норки, но в следующее мгновение она пропадала, а под полом затихали писк и топот. Однако более всего его поразила веревка большого набатного колокола, висевшая в углу комнаты, справа от камина, и уходившая на крышу. Он придвинул поближе к огню роскошное резное дубовое кресло с высокой спинкой и устроился в нем с последней чашкой чая. Допив ее, он подбросил дров и вернулся к работе за стол, слева от огня. Некоторое время крысы досаждали ему своей докучливой возней, но потом он перестал замечать шум, как перестают замечать тиканье часов или гул прибора, и настолько углубился в работу, что забыл обо всем на свете, кроме теоремы, которую пытался доказать.

Внезапно он поднял глаза от недоказанной теоремы, ощутив близость томительного предрассветного часа, внушающего ужас всем, чья совесть нечиста. Крысы затихли. Ему и в самом деле показалось, будто крысиная возня прекратилась только что и от занятий его заставила оторваться вдруг наступившая тишина. Огонь едва теплился, но все еще отбрасывал темно-красный отсвет, и то, что он увидел в огненных бликах, заставило его содрогнуться, несмотря на все хладнокровие.

На роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой справа от камина сидела, не сводя с него злобного взгляда, огромная крыса. Он хотел было согнать ее, но крыса даже не шевельнулась. Тогда он сделал вид, будто сейчас швырнет в нее чем-нибудь. Но крыса и тут не шевельнулась, лишь хищно оскалила острые белые зубы и в свете лампы сверкнула глазами, как показалось студенту, даже мстительно.

Пораженный Малколмсон схватил каминную кочергу и бросился на зверя. Но не успел он занести руку, как крыса, с писком, в котором слышалась настоящая ненависть, спрыгнула на пол, кинулась по веревке набатного колокола вверх и исчезла во тьме, не проницаемой светом лампы под зеленым абажуром. И тотчас же, как ни странно, возня и перебежки крыс под панелями возобновились.

К этому времени Малколмсон и думать забыл о теореме, а заслышав пронзительный крик петуха, возвещавший наступление утра, отправился спать.

Спал он так крепко, что даже не слышал, как пришла убирать его комнату миссис Демпстер. И проснулся, только когда она, прибрав и приготовив завтрак, постучала по ширме, отгораживавшей его постель. После упорной работы накануне он по-прежнему чувствовал себя немного усталым, но чашка крепкого чая его взбодрила. Тогда он отправился на утреннюю прогулку, взяв с собой ученый труд и несколько сандвичей, на случай, если ему вздумается не возвращаться к обеду. На окраине города он нашел уединенную аллею, обсаженную высокими вязами, и провел там большую часть дня, прилежно штудировав Лапласа[2]. На обратном пути он зашел к миссис Уизем поблагодарить ее за заботу. Увидев его в эркерном окне кабинета, набранном из ромбовидных стеклышек, она поспешила ему навстречу и пригласила войти. Она внимательно оглядела его и, покачав головой, проговорила:

— Не переусердствуйте, сэр. Вы сегодня что-то бледны. Сидение допоздна над книгами еще никому не шло на пользу. Но расскажите, сэр, как прошла ночь. Без происшествий, я надеюсь? Боже мой, сэр, как же я была рада услышать от миссис Демпстер, что вы целы и невредимы и крепко спали утром, когда она вошла!

— Да, я и вправду цел и невредим, и таинственные обитатели дома мне не докучали. Вот только от крыс нет спасения — и устроили же они цирк, скажу я вам, всю комнату заполонили! А особенно мне досаждала мерзкая старая крыса, настоящий дьявол, вообразите, забралась в мое кресло у камина и не спрыгивала, пока я не бросился на нее с кочергой! Тогда она кинулась вверх по веревке от колокола и где-то спряталась — то ли под потолком, то ли на стене, — я не разобрал, темно там было.

— Господи помилуй! — воскликнула миссис Уизем. — Старый дьявол, да еще забрался в кресло у камина! Берегитесь, сэр, берегитесь! Шутки шутками, а доля правды во всех этих слухах есть!

— Что вы хотите этим сказать? Клянусь, не понимаю.

— Старый дьявол! Надеюсь, не *тот самый* дьявол. Ах, сэр, не смейтесь! — продолжала она, потому что Малколмсон от души расхохотался. — Вечно вы, молодые, смеетесь над тем, от чего людей постарше в дрожь бросает. Ничего-ничего, сэр! Даст бог, так это смехом и кончится! Я вам того и сама желаю!

И добрая женщина засияла от удовольствия, заразившись его весельем и на мгновение забыв о своих страхах.

— О, простите меня! — поспешно вставил Малколмсон. — Не хочу показаться грубым, но это и вправду уморительно — старый дьявол собственной персоной нагрянул ко мне вчера вечером и восседал в кресле!

С этими словами он, не выдержав, снова рассмеялся, а потом отправился домой обедать.

Вечером крысы подняли шум раньше прежнего. Они явно возились и до его прихода и поутихли только на время, когда их встревожило его появление. После обеда он уселся в

кресло выкурить сигарету, а потом убрал со стола поднос с остатками обеда и принялся за работу, как накануне. На сей раз крысы досаждали ему пуще прежнего. Как же они шмыгали под полом и на чердаке! Как пронзительно пищали, как шумно скреблись, с каким хрустом грызли старое дерево! Как дерзко они, мало-помалу осмелев, стали высовываться из норок, отнорочков, щелей и трещин в панельной обшивке и как ярко блестели их крошечные глазки в неверном свете камина! Но теперь, когда он привык к ним, их взгляды уже не казались ему злыми, вот только их нескончаемая возня его тяготила. Иногда самые смелые совершали вылазки по полу или по планкам панельной обшивки. Время от времени, когда поднимаемый ими шум делался совсем нестерпимым, Малколмсон громко хлопал ладонью по столу или сердито кричал: «Кыш!» — и они опрометью кидались в норы.

Так прошло несколько часов, и Малколмсон, привыкнув к крысиной возне, все более углублялся в занятия.

Неожиданно он прервал работу, как и в прошлый раз, оглушенный внезапно наступившей тишиной. Шум, возня и писк совсем смолкли. Комнату заполнила могильная тишина. Он вспомнил странное происшествие прошлой ночи и машинально взглянул на кресло у камина. То, что он увидел, заставило его содрогнуться.

На роскошном старом резном дубовом кресле с высокой спинкой, стоявшем возле камина, сидела, не сводя с него злобного взгляда, все та же огромная крыса.

Не отдавая себе отчета в том, что делает, Малколмсон схватил первую попавшуюся книгу — сборник логарифмов — и запустил ею в крысу. Он промахнулся, а крыса даже не шевельнулась, поэтому, как и прошлой ночью, студент снова бросился на нее с кочергой, и снова крыса, спасаясь от преследования, взбежала по веревке колокола. Как ни странно, едва эта крыса исчезла, крысиное царство подняло шум с удвоенной силой. Малколмсон и на сей раз не сумел разглядеть, где именно скрылась крыса, так как зеленый абажур лампы скрывал в тени потолок и верхнюю часть стен, а огонь в камине едва теплился.

Посмотрев на часы, он понял, что время близится к полуночи, и, не сожалея о развлечении, подкинул дров в огонь и заварил себе ежевечернюю кружку чая. Он неплохо поработал и подумал, что заслужил сигарету, а потому уселся в глубокое резное дубовое кресло и с наслаждением закурил. Сидя у огня, он стал размышлять, что неплохо бы выяснить, куда делась крыса, а на следующий день намеревался приобрести ловушку. Поэтому он зажег еще одну лампу и поставил ее так, чтобы она хорошо освещала правый угол стены над камином. Потом он перетащил поближе все свои книги и разложил их в особом порядке, чтобы как снарядами обстреливать ими гнусных тварей. И наконец, он поднял веревку от колокола и придавил ее свободный конец лампой. Взяв ее в руки, он не мог не заметить, что она хотя и очень толстая, но гибкая и эластичная, при том что провисела здесь много лет. «Подойдет для виселицы», — невольно подумал он. Закончив приготовления, он удовлетворенно все оглядел и самодовольно заключил: «Ну вот, мой друг, теперь, я думаю, мы о тебе кое-что узнаем». Он снова принялся за работу и, хотя поначалу не мог сосредоточиться из-за крысиной возни, вскоре совершенно углубился в доказывание теорем и решение задач.

И снова Малколмсон внезапно очнулся, вспомнив, где он. На сей раз его внимание привлекла не только неожиданно наступившая тишина, но и легкое колебание веревки, сдвинувшее лампу. Не шевелясь, он покосился на приготовленную стопку книг, проверяя, сможет ли одним движением до них дотянуться, а потом проследил взглядом за подрагивавшей веревкой. Прямо на его глазах огромная крыса свалилась с веревки на

дубовое кресло, устроилась там и злобно воззрилась на него. Правой рукой он поднял книгу и, тщательно прицелившись, метнул ее в крысу. Однако крыса проворно отпрыгнула в сторону, увернувшись от пущенного в нее снаряда. Тогда он схватил другую книгу, потом еще, одну за другой бросил их в крысу, но оба раза промахнулся. Наконец, когда он приготовился метнуть в нее третью книгу, крыса пискнула и, кажется, впервые испугалась. Это еще больше раззадорило Малколмсона, и пущенная им книга наконец нанесла крысе чувствительный удар, гулким эхом разнесшийся по всей комнате. Крыса пискнула, обезумев от страха, и, бросив на своего врага исполненный ненависти взгляд, одним прыжком взлетела на веревку и взбежала по ней с быстротой молнии. От внезапного толчка тяжелая лампа закачалась, но устояла. Малколмсон не сводил глаз с крысы и при свете второй лампы разглядел, что она вспрыгнула на планку обшивки и исчезла в дыре, красовавшейся на одной из некогда роскошных картин, висевших на стене и совершенно потемневших от грязи и пыли.

«Ну что ж, друг мой, утром я нанесу визит в твое жилище, — проговорил студент, возвращаясь за книгами. — Не забыть, третья картина от камина». Одну за другой поднимал он книги с пола, вслух высказывая свое мнение о каждой. «Опыта теории конических сечений»[\[3\]](#) ему было не жаль, готов он был пожертвовать и «Качающимися часами»[\[4\]](#), и «Началами»[\[5\]](#), и «Основами теории кватернионов»[\[6\]](#), и «Термодинамикой»[\[7\]](#). А вот и книга, которая нанесла ему решающий удар! Малколмсон поднял ее с пола и внезапно замер. Лицо его покрыла бледность. Он смущенно огляделся, слегка вздрогнул и тихо пробормотал: «Библия, которую подарила мне мать! Что за странное совпадение!» Он снова сел за ученые труды, а крысы за панелями снова принялись резвиться как ни в чем не бывало. Однако они более его не отвлекали; их возня даже избавляла от чувства одиночества. Но сосредоточиться на занятиях он уже не мог и, тщетно пробившись над задачей, которая давно не давала ему покоя, в отчаянии бросил все и лег спать, едва первые лучи солнца показались в выходящем на восток окне.

Проспал он долго, но его мучили тревожные сновидения, без конца сменявшие друг друга, а когда миссис Демпстер разбудила его около полудня, ему было не по себе, и несколько минут он, кажется, даже не понимал, где он. Его первое распоряжение удивило старую служанку: «Миссис Демпстер, днем, когда меня не будет, пожалуйста, возьмите лестницу и сотрите пыль с картин или вымойте их хорошенько, особенно третью от камина, мне хочется посмотреть, что на них изображено».

Часов до пяти пополудни Малколмсон штудировал свои ученые труды в тенистой аллее, к вечеру к нему вернулась прежняя бодрость, и он подумал, что работа его продвигается недурно. Он благополучно решил все задачи, до сих пор ставившие его в тупик, и, переполняемый торжеством, отправился навестить миссис Уизем. В уютной гостиной в обществе хозяйки он застал незнакомца, который был представлен ему как доктор Торнхилл. Миссис Уизем явно ощущала некоторую неловкость, и ее смущение в сочетании с градом вопросов, который немедля обрушил на Малколмсона доктор, заставило его предположить, что доктор явился к хозяйке гостиницы не случайно, и потому он без обиняков сказал:

— Доктор Торнхилл, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые вам будет угодно задать, если сначала вы ответите мне на один вопрос.

Казалось, доктор был удивлен, но улыбнулся и тотчас же откликнулся:

— Согласен! И что же это за вопрос?

— Это миссис Уизем просила вас прийти сюда и дать мне врачебную консультацию?

Секунду доктор Торнхилл не мог скрыть ошеломление, миссис Уизем покраснела до корней волос и отвернулась, но доктор оказался человеком искренним и прямодушным, а потому отвечал совершенно откровенно:

— Да, миссис Уизем и в самом деле просила меня поговорить с вами, но хотела, чтобы ее просьба оставалась тайной. Должно быть, я просто выдал себя своей неуместной поспешностью. Миссис Уизем сказала, что вам не следовало бы жить одному в этом доме и что вы по вечерам пьете слишком много крепкого чая. По мнению миссис Уизем, мой долг — убедить вас не засиживаться допоздна и не пить чай. Я тоже в свое время был увлечен научными занятиями и потому, полагаю, могу дать вам совет на правах бывшего универсанта, а значит, человека, знакомого с вашим образом жизни.

Малколмсон с широкой улыбкой повернулся к доктору.

— По рукам, как говорят в Америке! — провозгласил он. — Я должен поблагодарить за заботу вас и миссис Уизем и отплатить вам за доброту. Обещаю не пить больше крепкого чая — не пить чая вовсе — и лечь сегодня спать не позднее часа ночи. Вы довольны?

— Как нельзя более! — воскликнул доктор. — А теперь расскажите-ка нам, что же необычного вы заметили в старом доме.

И Малколмсон тотчас поведал им, ничего не упустив, что произошло в последние две ночи. Его рассказ то и дело прерывали испуганные восклицания миссис Уизем, а когда он наконец упомянул о Библии, которую бросил в крысу, она, громко вскрикнув, дала волю долго сдерживаемому волнению и несколько успокоилась только после того, как доктор налил ей стаканчик бренди с водой. Доктор Торнхилл слушал студента, постепенно мрачней, а когда тот договорил, а она пришла в себя, спросил:

— И что же, крыса всегда взбегала по веревке набатного колокола? Полагаю, вы знаете, что это за веревка? — добавил он, помолчав. — На этой самой веревке палач повесил всех жертв не знавшего жалости судьи.

Но тут миссис Уизем снова перебила его, вскрикнув от страха, и ее снова пришлось приводить в чувство. Малколмсон взглянул на часы, понял, что приближается время обеда, и ушел домой, не дожидаясь, пока она совершенно успокоится.

Придя в себя, миссис Уизем едва не набросилась на доктора, гневно вопрошая, зачем он тревожит молодого человека столь ужасными измышлениями.

— Ему и без того, бедному, там приходится несладко, — добавила она.

Доктор Торнхилл ответил:

— Сударыня, я намеренно привлек его внимание к веревке, чтобы он крепко это запомнил. Быть может, он и переутомлен чрезмерными занятиями, но мне представляется самым что ни на есть душевно и телесно здоровым молодым человеком... Вот только эти крысы, о которых он вечно твердит, и старый дьявол... — Доктор покачал головой и продолжил: — Я хотел было пойти к нему и переночевать там сегодня, но спохватился, решив, что он сочтет мое предложение оскорбительным. Может быть, ночью что-то испугает его или его посетят какие-то странные видения, и тогда я хотел бы, чтобы он потянул за веревку. В этом доме он в совершенном одиночестве, колокольный звон предупредит нас, что ему грозит опасность, мы поспешим на помощь и окажемся полезны. Сегодня я не лягу спать допоздна и буду внимательно прислушиваться. Не пугайтесь, если Бенчёрч до утра ждет сюрприз.

— Ах, доктор, что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что, возможно, нет, даже весьма вероятно, сегодня ночью город

огласит звон набатного колокола, висящего на крыше Дома судьи.

И с этими словами доктор удалился, наслаждаясь произведенным впечатлением.

Придя домой, Малколмсон обнаружил, что вернулся позже, чем обычно, и миссис Демпстер уже ушла, боясь нарушить строгие правила Дома призрения Гринхау. Студент с радостью отметил, что в комнате прибрано, в камине горит веселый огонь, а лампа заправлена свежим маслом. Вечер выдался холоднее, чем это обыкновенно бывает в апреле, порывы ветра с каждой минутой делались все сильнее, и ночью, судя по всему, следовало ожидать настоящей бури. Едва он вошел, как крысиная возня поутихла, но стоило крысам привыкнуть к его присутствию, как они завозились пуще прежнего. Студент радовался их возне, ведь она, как и раньше, избавляла его от чувства одиночества. Внезапно он вспомнил о странном совпадении: крысы смолкали, когда на кресле, точно король на троне, восседал и устремлял на него злобный взгляд «старый дьявол». В комнате горела только настольная лампа, ее зеленый абажур оставлял в тени потолок и верхнюю часть стен, и потому веселый огонь камина, освещавший пол и белую скатерть, которой был застлан стол, казался особенно приветливым и теплым. Малколмсон ощутил прилив жизнерадостности и с аппетитом принялся за обед. Пообедав и выкурив сигарету, он совершенно углубился в работу, твердо сказав, что ни за что не позволит себя отвлекать, поскольку помнил о своем обещании, данном доктору, и решил как можно плодотворнее использовать время, оказавшееся в его распоряжении.

Он увлеченно занимался час-другой, а затем его внимание стало рассеиваться. Странная атмосфера пустого дома, шумы и шорохи, нервное напряжение все же сказывались на его состоянии. К этому времени порывы ветра уже превратились в шквал, а шквал — в настоящую бурю. Старый дом, хотя и выстроенный на славу, казалось, до основания сотрясала буря, ревушая, неистовствующая, с воем пролетающая между трубами и причудливыми старинными фронтонами, стенающая и вздыхающая так, что по всему помещению разносилось гулкое эхо. Порывы ветра, очевидно, поколебали даже большой набатный колокол на крыше, веревка едва заметно приподнималась и опускалась, с тяжелым глухим стуком ударяясь о дубовый пол, словно вторя размеренным ударам колокола, раскачиваемого на крыше чьей-то невидимой рукой.

Вслушиваясь в рев бури, Малколмсон вспомнил слова доктора: «На этой самой веревке палач повесил всех жертв не знавшего жалости судьи», прошел в угол за камином, взял веревку в руки и стал пристально рассматривать. Она словно притягивала его, он глядел на нее завороченно, не в силах оторваться, на мгновение погрузившись в печальные размышления и гадая, кто же были жертвы безжалостного судьи и что заставило его хранить как постоянное напоминание столь зловещую реликвию. Стоя у веревки, Малколмсон видел, что она все еще колеблется, должно быть, оттого, что колокол наверху покачивается. Внезапно он заметил, что веревка задрожала, как будто кто-то стал по ней спускаться.

Невольно подняв глаза, Малколмсон увидел, что прямо к нему, не спуская с него злобного взгляда, по веревке слезает та самая огромная крыса. Он выпустил веревку и с глухим проклятием отшатнулся, а крыса повернулась, снова бросилась вверх, исчезла во тьме, и в тот же миг Малколмсон понял, что приумолкнувшие было крысы опять завозились.

Все это заставило его задуматься, и в какую-то минуту он вспомнил о том, что собирался было поискать крысиное логово и взглянуть на картины, но отвлекся. Он зажег другую лампу, без абажура, и, высоко ее подняв, подошел к третьей картине справа от камина, за которой у него на глазах прошлой ночью исчезла крыса.

Увидев картину, он отпрянул, едва не выронив лампу, и смертельно побледнел. Колени у него подогнулись, на лбу выступили крупные капли пота, он задрожал как осиновый лист. Однако Малколмсон был молод, не робкого десятка, а потому совладал с волнением и спустя несколько секунд снова подошел поближе, поднял лампу и стал рассматривать картину, очищенную от пыли и отмытую. Теперь он ясно различал, кто на ней изображен.

Это был портрет судьи в алой бархатной мантии, отделанной горностаем. На лице его, выразительном и жестоком, с чувственным ртом и крючковатым, точно изогнутый клюв стервятника, красным носом, лежала печать злобы, коварства и мстительности. Щеки и лоб у него были мертвенно-бледные, взгляд неестественно блестящих глаз исполнен ненависти. Увидев эти глаза, студент похолодел, ибо узнал в них глаза гнусной крысы. Он чуть было не выронил лампу, когда заметил, что сквозь дыру в портрете на него устремила злобный взгляд та самая крыса, а остальные грызуны поутихли. Однако он собрал все свое мужество и продолжал обследовать картину.

Судья был изображен сидящим в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой, справа от роскошного, облицованного камнем камина, а рядом с потолка свисала веревка, свернутый кольцом конец которой лежал на полу. Едва ли не с ужасом Малколмсон узнал на картине собственную комнату и испуганно огляделся, словно ожидая увидеть за спиной призрак. Потом он взглянул на кресло возле камина — и с громким криком выронил лампу.

В кресле, возле которого свисала с потолка веревка, сидела крыса со злобными, как у судьи, глазами и хищно, можно сказать плотоядно, за ним следила. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь завываниями бури.

От стука упавшей лампы Малколмсон пришел в себя. К счастью, лампа оказалась стальная и масло не разлилось. Тем не менее ему пришлось спешно подбирать ее с пола, и это несколько успокоило его расстроенные нервы. Погасив лампу, он отер пот со лба и собрался с мыслями. «Так более продолжаться не может, — сказал он себе. — Если меня и впредь будут одолевать такие видения, я точно лишусь рассудка. Довольно! Обещал же я доктору не пить более чая. Клянусь, он был совершенно прав! Должно быть, нервы у меня расшатаны! Странно, что я сразу этого не заметил. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Но теперь я положу этому конец и не позволю шутки со мной шутить».

После этого он выпил добрый бокал бренди с водой и решительно взялся за работу.

Спустя почти час он поднял взгляд от книги, встревоженный внезапно наступившей тишиной. За окном бушевал и завывал пуще прежнего ветер, дождь лил не ослабевая и барабанил по стеклам, словно град, но в комнате стояла полная тишина, разве что вой ветра гулким эхом отдавался в печной трубе да порой, когда буря чуть стихала, слышно было, как шипят, скатываясь по стенкам трубы, дождевые капли. Огонь в камине догорал и уже не давал яркого пламени, но комнату все еще заливал красный отсвет затухающих углей. Малколмсон прислушался и внезапно уловил тоненький, едва слышный звук, напоминавший писк. Он доносился из угла, где свисала веревка, и студент предположил, что это она поскрипывает на полу в такт колебаниям колокола на крыше. Однако, подняв глаза, он увидел в неверном свете догорающего огня, что это огромная крыса повисла на веревке и точит ее зубами. Веревку к этому времени она уже почти перегрызла, студент даже заметил более светлые пряди, обнажившиеся на фоне темных. На его глазах крыса завершила свою гнусную работу, отъеденный кусок веревки с грохотом свалился на дубовый пол, а огромная крыса на мгновение повисла, словно узел или кисть, на медленно покачивающемся конце. На какой-то миг Малколмсона снова охватил ужас: он осознал, что теперь отрезан от

внешнего мира и никто не придет ему на помощь, — но ужас тотчас же сменился гневом, и, схватив книгу, которую он как раз читал, он метнул ее в крысу. Он точно прицелился, но не успел пущенный им снаряд долететь до крысы, как она разжала когти и с глухим стуком шмякнулась на пол. Малколмсон немедленно бросился за ней, но она шмыгнула во тьму и пропала в неосвещенном углу комнаты. Малколмсон почувствовал, что сегодня более заниматься не сможет, решил внести разнообразие в монотонный ход своих ученых штудий, устроив охоту на крысу, и снял зеленый абажур с лампы, чтобы видеть большую часть комнаты. В самом деле, когда он поднял лампу, мрак, затопивший потолок и верхнюю часть стен, наконец отступил, и в свете лампы, казавшемся особенно ярким после непроглядной тьмы, перед студентом отчетливо предстали картины. Со своего места Малколмсон мог ясно рассмотреть на противоположной стене третью картину от камина. Он в изумлении потер глаза, и тут ему стало не по себе.

В центре картины красовался большой, неправильной формы участок бурого холста, незакрашенного, словно только что натянутого на раму. Фон картины не изменился, он по-прежнему изображал уголок комнаты с камином и веревкой, но фигура судьи исчезла.

Малколмсон, похолодев от ужаса, медленно повернулся, и задрожал, и затрясся, словно больной падучей. Казалось, силы оставили его, он лишился способности действовать, и двигаться, и даже мыслить. Он мог лишь смотреть и слушать.

В углу, в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой, сидел судья в алой бархатной мантии, не сводя с него злобного, исполненного ненависти взгляда. С жестокой, торжествующей улыбкой, исказившей его плотоядные губы, он медленно поднял черную шапочку, которую судьи обыкновенно надевают при оглашении смертного приговора. Малколмсон почувствовал, как вся кровь отхлынула от его сердца, и замер в невыносимом ожидании. В ушах у него зашумело. За окном ревели и выла буря, а сквозь ее яростный рев порывы ветра донесли перезвон курантов на рыночной площади, отбивавших полночь. Так студент простоял несколько секунд, показавшихся ему целой вечностью, застыв, словно статуя, с широко открытыми, расширенными от ужаса глазами и затаив дыхание. С каждым ударом курантов торжествующая улыбка на лице судьи становилась все более злобной, а с последним ударом полночи он надел черную шапочку.

Медленно и неторопливо судья встал с кресла, поднял с пола конец веревки, к которой был прикреплен колокол, медленно, словно лаская, провел по ней ладонью и стал неспешно завязывать на ее конце узел, готовя петлю. Потом он затянул ее покрепче, проверил на прочность, наступив на нее и несколько раз сильно дернув, пока не остался удовлетворен ее добротностью, и полюбовался аккуратной удавкой. Затем он стал медленно подходить к Малколмсону вдоль отделявшего их стола, не сводя с него глаз, прошел мимо него и вдруг быстрым движением загородил дверь. Малколмсон почувствовал, что попал в западню, и стал лихорадочно гадать, как спастись. Взгляд судьи, который тот ни на миг не сводил со студента, был исполнен какой-то гипнотической силы, и студент не мог отвести от него глаз. Вот судья приблизился, по-прежнему заслоняя от студента дверь, поднял удавку и ловким броском попытался накинуть ему на шею. Малколмсон едва успел отшатнуться, и веревка с громким стуком упала на дубовый пол. Судья снова поднял петлю и снова попытался набросить ее студенту на шею, не сводя с него злобного взгляда, и снова студенту каким-то невероятным усилием удалось отпрянуть. Так продолжалось довольно долго, но судью, казалось, несколько не обескуражили и не встревожили неудачи, похоже, он играл со студентом, как кошка с мышью. Наконец в приступе невыносимого отчаяния Малколмсон на

какую-то долю секунды оглянулся. В это мгновение масло в лампе вспыхнуло и комнату озарил яркий свет. Студент заметил, что из множества норок, щелей и трещин в панельной обшивке поблескивают глаза крыс, и само их присутствие на миг успокоило его. И тут он осознал, что веревки колокола у него за спиной не видно под серыми тельцами крыс. Крысы усеяли каждый ее дюйм, все новые и новые полчища устремлялись к веревке из маленького круглого отверстия в потолке, откуда она свисала, а колокол под их тяжестью стал раскачиваться.

Но что это? Веревка дрожала и колебалась до тех пор, пока язык колокола не ударился о его раструб. Послышался удар, еще негромкий, но колокольный звон уже набирал силу и вскоре должен был зазвучать в полный голос.

Услышав звон колокола, судья, не сводивший глаз с Малколмсона, покосился на веревку, и на лице его появилось выражение поистине дьявольской злобы. Глаза у него загорелись, словно раскаленные угли, он в гневе топнул ногой, так что старый дом сотрясся едва ли не до основания. Когда в небесах прокатился ужасный раскат грома, судья снова поднял петлю, а крысы забегали вверх-вниз по веревке еще быстрее, словно торопясь. На сей раз он не стал бросать удавку, а приближался к жертве, с каждым шагом растягивая петлю шире. Когда он подошел почти вплотную к Малколмсону, того охватило непонятное оцепенение, и он застыл. Малколмсон почувствовал, как судья ледяными пальцами поправляет петлю у него на шее. Удавка затягивалась все туже и туже. Потом судья поднял окаменевшего студента, перенес его к камину, взгромоздил на дубовое кресло, став рядом с ним, протянул руку и схватился за конец свисавшей веревки набатного колокола. Едва он поднял руку, как крысы с испуганным писком бросились в бегство и одна за другой исчезли в дыре в потолке. Затем судья связал конец удавки на шее Малколмсона и веревку от колокола и, неторопливо спустившись, выбил кресло из-под ног студента.

* * *

Услышав набат в Доме судьи, жители города забеспокоились. Вскоре множество людей, прихватив с собой лампы и факелы, не теряя времени, бросились на помощь студенту. Они принялись стучать, но никто не откликнулся. Тогда они выбили дверь и, предводительствуемые доктором, устремились в парадную столовую.

Там на веревке набатного колокола висел молодой человек, а на лице судьи, изображенного на портрете, играла злобная улыбка.

Дэниел Коркери
ГЛАЗА МЕРТВЕЦОВ

Если бы Джон Спиллейн не отложил возвращение домой на три года, его встречали бы как знаменитость. На вершинах холмов в Россамаре зажгли бы в его честь костры, а матросы на кораблях, проплывающих в двадцати милях от берега, гадали бы, по какому случаю устроено празднество.

Три года назад трансатлантический лайнер «Вестерн стар» во время ночного плавания в ключья порвал стальную обшивку, столкнувшись с твердым, как утес, айсбергом, и менее чем за час затонул. Из семисот восьмидесяти девяти пассажиров и членов команды, находившихся на его борту, спасся лишь один, Джон Спиллейн, бывалый моряк из местечка Россамара в графстве Корк. Название этой маленькой рыбацкой деревушки, имя и фотография Джона Спиллейна обошли все газеты, не только потому, что он единственный выжил в страшном кораблекрушении, но и потому, что избежал смерти при необычайных обстоятельствах. Он ухватился за обломок деревянной переборки, вероятно, более суток пробыл в беспамятстве, весь следующий день и следующую ночь его носило по океану, и только с наступлением третьей ночи, когда его силы подточило ожидание нового ужаса, подоспело спасение. Над волнами сгущалась пелена тумана. Она показалась ему страшнее мрака. Он закричал. Он кричал и кричал, не умолкая. Когда крепкие руки спасателей подняли его из воды, с его онемевших губ срывался хриплый, едва слышный крик, в котором с трудом угадывалось: «На помощь!»

В газетах изображалась картина, поразившая воображение читателей: полубезумная жертва кораблекрушения, ее крик, разносящийся над пустынным морем, медленно завлакивающий волны туман и поглощающая свет ночная мгла. И хотя весь мир прочел о том, как спасательная шлюпка с трудом пробиралась во тьме к тонущему, о том, как Спиллейна поначалу сотрясали приступы истерического смеха, о том, как он не мог поведать свою историю, не проспав полутора суток кряду, в памяти у всех остался другой образ: потерпевший кораблекрушение, в одиночестве, в бескрайнем море, и его крик, несущийся над волнами.

А потом не успела его фотография исчезнуть со страниц газет, как он затерялся в суете больших американских городов. Он ни разу не послал о себе в Россамару вестей, долгое время не сообщали ничего и его приятели. Лишь спустя год после кораблекрушения его мать и сестру по дороге в церковь, на воскресную мессу, стали иногда останавливать незнакомцы и шепотом передавать, что Джона видели в Чикаго, а может быть, в Нью-Йорке, а может быть, в Бостоне, а может быть, в Сан-Франциско или еще где-то. О нем доходили самые скудные вести, и потому его близкие не тешили себя надеждой, что, сменив море на сушу, он обрел лучший удел. И если его родным передавали о нем два-три слова, то прихожане маленькой церкви догадывались об этом по тому, как низко склоняли они головы во время мессы и как смиренно держались, внимая монотонному шепоту молитв.

Но как-то октябрьским вечером, три года спустя, он поднял щеколду на двери материнского дома и неуклюже замер посреди комнаты. Дело было к ночи, и ни одна живая душа не видела, как он спустился с холма и перешел дорогу. Он приехал тайно, повидав самые дальние уголки света.

Не пробыв с родными и часа, он внезапно, словно стыдясь чего-то, встал и улегся в постель.

«Мне не нужен свет», — сказал он, и, уходя из темной комнаты, его мать услышала, как он глубоко вздохнул, выразив в своем вздохе несказанное облегчение. Прежде он сослался на сильную усталость, ничего удивительного, если вспомнить, что он прошагал пятнадцать миль от железнодорожной станции в Скибберине. Но шли дни за днями, а он по-прежнему не желал вставать с постели и выходить на люди. Казалось, ему опостылело море, наскучили многолюдные американские города. «Жаль его», — говорили соседи, а те немногие, кому случилось мельком его увидеть, передавали, что на лице его застыла печать страха, которую наложил океан еще в ту жуткую ночь. Поговаривали, что волосы у него поседели, или почти поседели, и что он зачесывает их со лба, на манер, невиданный в тех краях, и оттого, мол, кажется, будто глаза его вечно широко открыты и смотрят точно сквозь собеседника — смотрят и не видят. Ходили слухи, что и усы у него седые, щеки мертвенно-бледные, ввалившиеся, а под глазами залегли черные тени. Однако мать и сестра, единственные родные, были рады его возвращению. «Теперь-то он хоть у нас под боком», — не уставали повторять они.

Мать и сестра воспринимали его поведение как должное, не изводя упреками и придирами. Складно говорить ни он, ни они не умели, и потому день за днем, неделя за неделей они обменивались всего несколькими скупыми словами, и этого им вполне хватало, пока день плавно не перетекал в безмолвную ночь. Поначалу им казалось естественным время от времени заводить с ним разговор о кораблекрушении, но вскоре они поняли, что ему нестерпимы любые упоминания об этом. А еще они пытались развлечь его, приводя к его постели то одного, то другого соседа, но гости нисколько не радовали его. Напротив, после их ухода он надолго замолкал и, можно сказать, впадал в отчаяние. Бывало, что к ним заходил священник, подбадривал его и советовал матери и сестре, которую звали Мэри, как ни в чем не бывало ухаживать за ним и делать вид, будто жизнь бок о бок с неприкаянным страдальцем их нисколько не печалит и даже не тяготит. Со временем к Джону Спиллейну стали относиться так же, как к большинству затворников или полузатворников, каких немало найдется в любой деревне, — прикованных к постели, увечных, старых и дряхлых, забытых всеми, кроме преданных родных, которые по утрам приносят им в постель кружку молока и раздвигают занавески, чтобы впустить в дом солнце.

Ближайшим соседом Спиллейнов, жившим всего в нескольких сотнях ярдов, был Том Лин. Джон Спиллейн дружил с ним еще до того, как пошел во флот, и теперь Том Лин изредка заглядывал вечерами, чтобы поведать какую-нибудь местную историю, или чтобы купить Спиллейнам нехитрые припасы в Скибберине, или чтобы, если наутро он собирался торговать, пригнать для продажи на рынок их свинью вместе со своими. Человек он был тихий и спокойный, обремененный семьей и выбивался из последних сил, чтобы прокормить жену и детей. В доме Спиллейнов он, посасывая трубочку, сидел на деревянном ларе и потихоньку беседовал со старушкой, пока Мэри хлопотала в крохотной, мощенной плитами кухне, прибираясь к ночи. Но все трое, ведя неспешную беседу, ни на миг не забывали о том, кто безмолвно слушает их разговор в задней комнате. Дверь в нее никогда не закрывали и никогда не зажигали там лампу, да в этом и не было нужды, так как туда проникал луч света из кухни, падавший на изображения Христа и Девы Марии на стене и позволявший отчетливо видеть все, что творилось в убогом домишке. Бывало, разговор касался не местных новостей, а известий из далекого мира, по временам доходивших даже до Россамары, однако посреди таких разговоров Том Лин, спохватившись и повысив голос, выпаливал: «Да что же это я, дурачок, болтаю о дальних странах, а второго такого домоседа и не сыщешь. Ведь в соседней комнате человек, который чего только не повидал!» Однако человек в соседней комнате оставался безучастным, никак не подтверждал слова приятеля и не опровергал их. В ответ только скрип постели доносился из задней комнаты, словно Джон Спиллейн раздраженно поворачивался на другой бок, услышав свое имя.

И вот наступил конец февраля, установилась штормовая погода, и в течение пяти последних дней к вечеру неизменно поднимался порывистый ветер, не стихавший всю ночь. На юго-западе Ирландии и вправду трудно найти семью, в которой муж, брат или сын не завербовался бы во флот и не плавал бы в чужих морях или не ловил бы рыбу у ирландского побережья, а то и вблизи острова Мэн. Однако ни в одном доме гибельный шторм не переживали так тяжело, как у Спиллейнов. Старушка, замкнувшись в себе, весь день перебирала четки, время от времени она забывалась, и тогда с ее губ срывался стон, напоминавший стенание ветра, а дочь успокаивала ее, повторяя: «Тише, тише!» — и ниже склонялась над шитьем, чтобы забыть о мучивших ее мыслях. Во время непогоды она иногда заходила к брату в комнату и обнаруживала, что он, приподнявшись в постели и опираясь на локти, вслушивается в завывание ветра и вглядывается в пустоту широко открытыми испуганными глазами. Он выпивал молоко, которое она ему приносила, и молча возвращал ей кружку. Она уходила из комнаты, а он все так же вслушивался в рев бури.

На пятую ночь все ожидали, что жестокий ветер усилится, но он вопреки предсказаниям несколько стих. Теперь он задувал порывами, и это предвещало конец шторма. Вскоре жители Россамары уже могли различить в непрерывном гуле неумолкающие стенания и рокот моря и внезапное завывание ослабевающей бури, ломающей вершины деревьев и обрушивающейся на прибрежные утесы. В доме Спиллейнов были рады признакам затишья: дочь оживилась и захлопотала по хозяйству, а мать отложила четки. Резкий порыв ветра заглушил скрип щеколды — это Том Лин зашел пожелать им доброй ночи. Лицо у него порозовело и пылало румянцем под полями зюйдвестки, глаза сияли от соленых брызг прибоя. Видеть его, такого здорового и разумного, было для них истинной

радостью.

— Как поживаете? — приветливо спросил он, прикрывая за собой дверь.

— Сносно, сносно, — ответили они, а мать поднялась и шагнула ему навстречу, словно хотела его обнять.

Их ответ означал, что в доме не случилось ничего непредвиденного, и он это понял. Он молча, с озабоченным видом кивнул в сторону комнаты, где пребывал их безмолвный слушатель, и Мэри ответила на его немой вопрос тоже без слов, скорбно вскинув голову. В задней комнате все оставалось по-прежнему.

Ветер постепенно ослабевал и вскоре задул ровно, непрерывно повторяя одну и ту же пронзительную ноту, однако море с неутихающим грохотом все бросалось и бросалось на островерхие прибрежные утесы. Том принес им множество новостей. С сарая Финни ветром сорвало крышу, в часовне выбило окно, у Ларджи разметало стог сена, а все кусты в округе полегли, оборотясь на восток. Ходили слухи, будто какое-то судно потерпело кораблекрушение в прибрежных водах, но размеры ущерба, причиненного за эти пять дней обезумевшим морем, еще только предстояло подсчитать. Спиллейнов мало интересовали новости, которые сообщал Том, им важно было само его присутствие, простая человеческая теплота, входившая в их дом вместе с ним и заставлявшая хотя бы на время забыть о мраке и унынии, в которое они с каждым днем погружались. Даже когда он собрался уйти, они не пали духом, настолько его приход их воодушевил.

— Ну, пока, кажется, обошлось, — сказал Том в дверях.

— Это уж точно, и потом, кто знает, может, не так уж мы и пострадали.

Он закрыл за собой дверь. Женщины вернулись было к очагу, но тут им почудилось, что они снова слышат снаружи голос Тома. Они удивленно прислушались, не раздадутся ли его шаги. Не сводя глаз, смотрели они на входную дверь, и тут им опять послышался его голос. На этот раз они не могли обмануться. Дверь снова отворилась, и, птясь, словно защищаясь от пронизывающего ветра, вошел Том. В неверном свете они увидели за плечом Тома медленно приближавшееся бледное лицо незнакомца. Тревога и робость, которые читались в каждом движении Тома, птившегося от чужака, передались и Спиллейнам, их охватил страх. Они заметили, что незнакомец тоже замер в нерешительности, опустив глаза. С его одежды, прилипшей к телу, стекали струи воды. Шапки на нем не было. Наконец он поднял голову и устремил на них умоляющий взгляд. Лицо у него было широкое и плоское, точно высеченное из камня, черты грубые. Время от времени они искажались странной судорогой, приоткрытый рот зиял черной дырой, небритый подбородок дрожал. Том заговорил с незнакомцем:

— Не стойте на пороге, войдите. Правда, в округе найдется немало домов, где вас примут лучше, чем в этом, но все равно входите.

На это чужак ответил хриплым, едва слышным голосом:

— Мне и конуры хватит или конюшни.

Сделав над собой усилие, он попытался улыбнуться.

— Нет, да что же вы такое говорите... Но входите, не стойте.

Тот медленно и неуклюже переступил порог, снова опустив глаза. Вода, стекавшая с его одежды, черной лужей разлилась на каменном полу. Молодая женщина несколько раз беспомощно прикоснулась к нему кончиками пальцев, словно желая выразить сочувствие, но явно не знала, чем ему помочь. Старушка, напротив, тотчас принялась разводить огонь, а Том подбросил в очаг хвороста и торфа. Незнакомец тем временем стоял точно в

беспамятстве. Наконец, когда Мэри со свечой в руках стала доставать из сундука сухую одежду, он выдал тем же хриплым, едва слышным голосом, в котором различался валлийский выговор:

— Кажется, выжил один я.

Они сразу поняли, что скрывается за этими скупыми словами, но лучше бы им было и вовсе этого не показывать.

— Что вы говорите? — откликнулась Мэри столь слабым и невыразительным голосом, словно вместо нее их произнес кто-то другой.

Он неуклюже поднял тяжелую руку, словно заказывал очередную порцию джина в пивной:

— Остальные пропали, все как один.

Его грубые черты снова исказились судорогой, он бессильно уронил руку и склонил голову. Они на миг похолодели, не сводя с него глаз, и он мог расценить их поведение как жестокость и черствость. Но тут Мэри, совладав с собой, почти бросилась к нему.

— Тише, тише, прошу вас, — умоляла она, сначала потянув его за руку к огню, потом назад, словно сама не осознавала, что делает. Наконец она отвернулась от чужака и прошептала Тому: — Отведи его на чердак, пусть там переоденется. Возьми это с собой и свечку, свечку не забудь.

И с этими словами она торопливо протянула ему свечу. Том повел незнакомца наверх по ступенькам, крутым, как приставная лесенка, и оба они пропали на чердаке. Старушка прошептала:

— Что он сказал?

— Что его корабль затонул.

— Он сказал, что он один выжил?

— Да, так в точности и сказал.

— А он слышал? — старушка качнула головой в сторону задней комнаты.

— Нет, разве ты не видела, что я сразу отвела его подальше? Но не сейчас, так позже все равно услышит. Вот ведь и чердачный пол под Томом ходуном ходит!

Мать не ответила. Она медленно прошла в свой уголок у очага и простонала:

— Вот ведь горе-то, как же он эту новость примет?

— Может, сказать ему, что мы приютили моряка с погибшего корабля?

— Ты только послушай, как они шумят! Какой шум подняли!

И вправду, пол чердака громко скрипел у мужчин под ногами. И тут, заглушая топот на чердаке, раздался голос, который они уже давно опасались услышать:

— Матушка! Матушка!

— Да, сынок?

— Кто там на чердаке? Там кто-то гремит и топчет — или мне это только снится?

С чердака и в самом деле доносился топот, напоминавший беготню матросов по палубе. Они одновременно об этом подумали, но голос, который они ожидали услышать, испугал их, словно с ними заговорил незнакомец.

— Сходи к нему и скажи все как есть, — прошептала мать. — Разве нам решать, как должно поступить. На все ведь воля Божья.

Она всплеснула руками.

Мэри, похолодев и дрожа всем телом, отправилась к брату. Старушка осталась у очага, но повернулась к двери в заднюю комнату и замерла в тревоге, не сводя с нее глаз.

Спустя несколько минут Мэри, как ни странно, бодро и проворно вошла в комнату:

— Он встает! Он встает и идет сюда! Говорит, его место здесь! Говорит, он здорову.

Этим она хотела сказать, что брат ее в твердом уме и в здравии.

— Сделаем вид, будто ничего и не случилось, встретим его как ни в чем не бывало, — откликнулась мать.

— Хорошо, матушка.

Им не терпелось увидеть сына и брата, и потому они рады были услышать, что Том и моряк ощупью ищут лестницу, спускаясь с чердака. На огне закипел и запыхтел чайник, и Мэри стала накрывать на стол и расставлять кружки.

Моряк слез с чердака, застенчиво улыбаясь, в наспех собранной, не по мерке одежде. Казалось, он так рад, что готов запеть.

— Как хорошо погреться у огня, — сказал он. — Сразу оживаешь. Да еще в сухой одежде. Клянусь, добрые люди, вам, верно, и невдомек, как я вам благодарен, как благодарен.

И он подолгу тряс им руки.

— Сядьте, выпейте чаю.

— Никак не возьму в толк, и двух часов не прошло, как там, в море... — Он махнул рукой на маленькое, вроде иллюминатора, окно, пристально смотря на них широко открытыми глазами.

— Не волнуйтесь, прошу вас, просто пейте чай, — попросила Мэри.

Он кивнул и с жадностью набросился на еду, однако то и дело останавливался, словно стыдясь, оборачивался и окидывал их всех по очереди сияющим взглядом, а они учтиво кивали в ответ. «Простите меня, — повторял он, — простите». Он был не из речистых и не мог выразить переполнявшие его чувства. Чтобы не смущать его, Том Лин сел поодаль, а женщины нашли себе какие-то занятия в кухне. Тишину нарушали только стук разбиваемой яичной скорлупы, поскрипывание прялки да порывы ветра за стеной. И тут дверь задней комнаты приотворилась — тихо, так тихо, что никто и не услышал, — и не успели они опомниться, как Джон Спиллейн, в небрежно накинута одежде, неловко остановился посреди кухни, глядя на спину моряка, низко склонившегося над столом. «Это мой сын, — только и смогла сказать мать. — Он уже спал, когда вы пришли».

Валлиец вскочил на ноги и стал пожимать ему руку, в немногих словах поблагодарив его и его домочадцев за гостеприимство. Когда он снова сел, Джон молча направился к своему месту на деревянном ларе и оттуда, с другого конца кухни, стал наблюдать за моряком, снова склонившимся над едой.

Моряк отставил тарелку и кружку, больше он не мог съесть ни кусочка и выпить ни капли, а Том Лин и женщины попытались занять его беседой, точно по какому-то немому уговору старательно избегая упоминать о том, что ему пришлось пережить. И все это время к нему был прикован мрачный взгляд Джона Спиллейна. На мгновение в разговоре возникла пауза, которую ничем не удалось заполнить, и тут моряк отодвинул от стола свой стул, вполоборота повернулся к хозяевам и, задумчиво покачивая ложкой, произнес:

— Никак не возьму в толк... Не возьму в толк, и все тут. Вот сижу я в тепле да в уюте, кормят меня на убой, — само собой, я вам благодарен так, что и словами не высказать, — а все мои товарищи, — он махнул ложкой в сторону моря, — сейчас на дне морском, побелевшие да холодные, точно мертвая рыба.

И тут, к удивлению присутствующих, из дальнего угла раздался голос:

— Так, значит, вы налетели на рифы?

— Еще бы! Целых три раза. Сначала прошлой ночью, примерно в это время, но ветер сорвал нас снова. Мы решили, что нам посчастливилось. Опять наскочили на риф и снова быстро снялись, опять нам повезло. Но в третий раз нас просто смяло, вот так! — Он хлопнул в ладоши. — Корабль разбило в щепки, кругом тьма, хоть глаз выколи! И как подумаю, что и двух часов не прошло!

— Вас разбило вдребезги? — продолжал расспрашивать тот же голос.

— Именно так, «Красотку Нэн» разбило вдребезги, сэр. Никто ничего толком и понять

не успел. Все произошло слишком быстро. Когда пришел в себя, оказалось, что держусь за выступ утеса. Вцепился в него что было сил и держусь.

Тут валлиец встал, словно повинуюсь какому-то внутреннему порыву.

— Вы были впередсмотрящим?

— Не я один! Мы все, сменяя друг друга, трое суток чередовались на посту. Клянусь вам, сэр, трое суток. Мы уже чуть не в беспамятство впадали, так были измучены.

Спиллейн и его домочадцы не сводили с валлийца взгляда, а тот, произнося свою маленькую речь, изменился на глазах: его черты снова исказились судорогой, он обессилел, румянец исчез с лица, хотя до этого еда и уют вроде бы уже вернули его к жизни. Он в мгновение ока превратился в утопленника, притаившегося к ним на порог этой ночью в прилипшей к телу мокрой одежде.

— Я просто свету невзвидел, я ведь живой, держусь за утес, а они пошли ко дну, все как один! Кроме меня, никто не выжил... Знаете, меня такой страх одолел, что я даже на помощь позвать не мог.

Тут медленно встал и Джон Спиллейн, тоже словно повинуюсь какому-то властному внутреннему порыву.

— Они смотрели на вас?

— Кто?

— Ваши товарищи. Смотрели, не спуская глаз.

— Нет, — голос у валлийца дрогнул. — Нет, я об этом не думал.

Они как зачарованные глядели друг на друга.

— Значит, не думали...

Казалось, Джон Спиллейн потерял интерес к разговору. Теперь он говорил слабым, невыразительным голосом, но по-прежнему не сводил с моряка пристального, озадаченного взгляда. А тот, смущенный, смешавшийся, казалось, внезапно обрел силу, которую утратил Спиллейн, — торопливо, захлебываясь, он пытался донести до слушателей впечатления той ужасной ночи:

— Но я вот о чем подумал: сижу я здесь, за столом, а они там, все как один, разве не странно это и не правильнее было бы, если бы они сейчас вошли, все, друг за другом?

С этими словами, произнесенными сбивчивым полупшепотом, в комнату точно ворвалась беспредельная, страшная тьма, окружавшая непроницаемой завесой хижину. Обитателям домика почудилось, будто они перенеслись в некий бесплотный, неосязаемый мир. Их охватил страх, что сейчас поднимется дверная щеколда, и они не решались даже посмотреть в ту сторону, чтобы невольным взглядом не впустить в дом ужас. Но все это нисколько не волновало Джона Спиллейна. Казалось, он ушел в себя, устремив взгляд на что-то, видимое ему одному. Чтобы немного успокоиться, все, кроме него, нашли себе простое повседневное занятие: Мэри стала убирать чайную посуду, Том — набивать трубку, и вдруг прерывистый, почти неразличимый голос снова заставил их замереть. До них стали долетать отдельные слова, потом целые фразы: «Поставили впередсмотрящим... А глаза у меня закрываются от усталости... Ничего не мог с собой поделаться... Это ужасно, ужасно, но я ничего не мог поделаться...» Охваченный мукой, он бросился к ним, повторяя: «Они окружили меня. Не сводили с меня глаз. Они обвиняли меня. Их было множество, все море ими было усеяно. Повсюду, куда хватало глаз! Они молчали, только глаза их горели во мраке, как бледные свечи!»

Скованные страхом, они смотрели, как он поворачивается к ним сутулой матросской

спиной и исчезает в своем убежище. Они уже не могли различить его голос, они боялись пойти за ним.

Дороти Макардл

УЗНИК

Однажды вечером, на исходе мая, в комнату Уны, смеясь, ворвался изможденный Лиэм Дэйли — бледная тень того юноши, которого мы знали дома. Мы полагали, будто он только выздоравливает в Ирландии и еще совершенно беспомощен, и потому, увидев его, заликовали, словно он воскрес из мертвых. Какое-то время все тонуло в разноголосице шумных вопросов и ответов, шуток, в обмене дружескими насмешками и наперебой сообщаемыми новостями. Он, по своему обыкновению, уже остроумно шутил по поводу тридцативосьмидневной голодовки, которую выдержал в тюрьме, но несколько раз во время разговора его лицо мрачнело, и он умолкал, не сводя с меня задумчивого, опечаленного взгляда.

— «Вперил в меня горящий взор!»[\[8\]](#) — наконец пожаловалась я.

Он рассмеялся.

— Вообще-то ты права, — сказал он. — Мне действительно рано или поздно придется поделиться с вами одной историей, и, если вы согласны меня послушать, я готов начать прямо сейчас.

Нам не терпелось услышать его рассказ, но, глядя на его помрачневшее лицо, мы затихли и хранили молчание до конца его непостижимого повествования.

— Вы скажете, что это был сон, — начал Лиэм, — и надеюсь, что вы правы. Я до сих пор ломаю голову, что же со мной случилось тогда, в тюрьме. Вы же знаете, что такое Килмейнхем?[\[9\]](#)

Он улыбнулся Ларри, и тот кивнул в ответ.

— Пожалуй, это самая мрачная тюрьма в Ирландии, никто и не знает точно, сколько ей лет. Когда объявили голодовку, я сидел в карцере, мерзкой подземной темнице, иного названия ей и подобрать нельзя, кишевшей крысами и прочими тварями, туда не проникал луч света, там царила мертвая тишина. В этом крыле не содержали больше ни одного заключенного. Разумеется, сидеть в таком карцере — еще хуже, чем в одиночной камере, а особенно трудно выдерживать это во время голодовки, когда боишься лишиться рассудка.

Думаю, к исходу месяца я был близок к помешательству. Признаю, вам тяжело меня слушать, — спохватился он, сочувственно взглянув на Уну, — но попытайтесь понять меня, мне хочется знать, что вы об этом думаете.

Мне перестали приносить еду, а тюремный доктор не утруждал себя визитами в мою камеру. По временам надзиратель заглядывал в глазок и выкрикивал какое-нибудь приказание, но большую часть дня и всю ночь я пребывал в совершенном одиночестве.

Самым скверным было потерять ощущение времени; вы и вообразить не можете, как это мучительно. Я впадал в забытие, просыпался и не знал, целый день прошел или всего час. Иногда мне чудилось, что настал уже пятидесятый день голодовки и мы вот-вот ее прекратим, потом мне начинало казаться, что по-прежнему длится тридцатый, а потом меня охватывал безумный страх, что в тюрьме такая категория, как время, вообще не существует. Не знаю, смогу ли я это объяснить, но меня не покидало чувство, будто вне стен тюрьмы время течет как нескончаемый, безостановочно движущийся поток, а в тюрьме тебя словно затягивает водоворот. Время все вращается и вращается, а ты точно застыл в его неподвижном центре, где ничто не может измениться, ты даже умереть не в силах.

Бесконечно повторяются лишь вчерашний день и сегодняшней, — выныривая из одного, ты неизбежно погружаешься в другой, и это длится вечность. Вот тогда-то я испытал ни с чем не сравнимый ужас надвигающегося безумия и потому стал разговаривать, даже болтать, сам с собой, ведь другого собеседника у меня не было. Но я лишь усугубил свои муки, так как вскоре понял, что не могу остановиться, — казалось, кто-то проник в мое сознание и без конца твердит и твердит ужасные, кошмарные проклятия, а я не в силах остановиться и замолчать, чувствуя, что превращаюсь в... Нет, я даже не могу описать это!

Иногда мне удавалось вырваться из этого заколдованного круга, и тогда я начинал молиться. В такие мгновения я отдавал себе отчет в том, что изрыгающая проклятия тварь в моем сознании — не я сам. Я решил, что это злокозненный призрак, может быть дух какого-то преступника, умершего в этой камере много лет назад. Потом меня охватил ужас оттого, что, если я умру, утратив рассудок, он овладеет моей душой, и я навсегда затеряюсь в аду. Я стал возносить всего одну молитву, прося Господа забрать мою жизнь до того, как я сойду с ума. Если бы мне удалось поговорить хоть с одной живой душой, я был бы спасен, и когда приходил доктор, я только невероятным усилием воли сдерживался, чтобы не зарыдать, умоляя его не бросать меня, не уходить, но какие-то остатки здравого смысла еще подавляли этот всплеск истерики.

Одиночество и мрак, слившись воедино, превратились в заклятого врага, которого не видишь и не слышишь. По временам меня окружала крошечная тьма, и тогда мне казалось, что я в гробу и что безмолвие наваливается на меня плотной пеленой, стремясь задушить. Потом меня посещали другие видения, я представлял себя бесплотной тенью, уносящейся куда-то ввысь и растворяющейся в небытии, и просыпался в холодном поту, с бешено бьющимся сердцем. Мрак и я превратились в смертельных врагов, и каждый задумал во что бы то ни стало уничтожить другого: он пытался сомкнуться надо мной, раздавить меня, по капле высосать мое сознание, а я пытался пронзить его взглядом, рассмотреть хоть что-нибудь за его пеленой, — боже мой, как это было страшно!

Однажды темной, беззвучной ночью мои страдания сделались невыносимыми. Я думал, что умираю, что безумие и смерть наперебой стараются овладеть мною, и не знал, кому достанусь. Я тщился сохранить ясный ум, пока мое сердце не перестанет биться, и молился, чтобы мне было позволено уйти к Господу в здравом рассудке. А тем временем на меня наваливалась тьма — крошечная, осязаемая, всевластная. Я загадал, что если смогу различить в ней хоть что-нибудь, хоть смутное пятнышко, то сохраню здравый рассудок. Невероятным напряжением всех оставшихся сил я попытался разглядеть окно, или глазок на двери, или распятие на стене, но не смог. Тогда я вспомнил, что в углу напротив койки в стене закреплен маленький откидной стул. Я неистово, отчаянно внушал себе, что должен во что бы то ни стало его увидеть, и в конце концов увидел. И тотчас же отступил страх, отхлынула боль, ведь я понял, что в камере не один.

Он сидел на стуле совершенно неподвижно, в безвольной позе безнадежного отчаяния, склонив голову, уронив руки между колен. Какое-то время я молчал, пытаюсь рассмотреть его в темноте, и наконец понял, что он совсем юн — светловолосый, мертвенно-бледный мальчик в ножных кандалах. Уверю вас, я немедленно проникся к нему состраданием, благодарностью и любовью.

Через некоторое время он пошевелился, поднял голову и пристально посмотрел на меня страдальческим взглядом, какого мне не случалось видеть прежде.

Повторяю, это был почти мальчик, с тонкими, заострившимися чертами, с глубоко

запавшими глазами, лицо его напоминало череп, обтянутый кожей. Он посмотрел на меня, а потом снова бессильно склонил голову, не сказав ни слова. Однако я догадывался, как мучительно он жаждет выговориться, поведать мне что-то. Ко мне вернулись силы, я совершенно успокоился и, глядя на него, ждал, когда он заговорит.

Я ждал довольно долго, и время снова закружилось, затягивая меня, точно водоворот, круги которого расходятся шире и шире, словно от брошенного в воду камня. Наконец он поднял глаза и умоляюще посмотрел на меня, будто просил проявить терпение. Я понял: я победил тьму, — ему предстояло прорвать пелену безмолвия, а я знал, насколько это тяжело.

В конце концов я заметил, как он шевельнул губами, и услышал слабый, едва различимый шепот: «Выслушайте, выслушайте меня, ради бога!»

Я взглянул на него и снова стал ждать, молча, опасаясь его испугать. Он подался вперед, покачиваясь на стуле, не отрывая неподвижного, остановившегося взгляда от какого-то ужасного видения, представшего ему одному. Такие глаза, остекленевшие от муки, верно, бывают у душ, томящихся в чистилище.

— Выслушайте, выслушайте! — донеслось до меня. — Я должен сказать вам правду, а вы должны передать ее другим, запомнить ее, записать!

— Я так и поступлю, — мягко сказал я, — если выйду отсюда живым.

— Вы должны выжить и всем рассказать! — простонал он и стал рассказывать свою историю.

Он говорил, словно обращаясь не ко мне, а к самому себе, бессвязно и сбивчиво, и я не могу повторить его рассказ дословно, но большую часть мне удалось запомнить.

— Моя мать, — простонал он, — моя мать узнает, что они покрыли наше имя позором! И подумать только, позор падет на голову моей гордой матери, столь гордой, что она не проронила ни слезы, даже когда они убили у нее на глазах моего отца! Выслушайте меня!

Казалось, он вне себя от страха, что я могу ему не поверить, его терзала мысль, что он не успеет поведать мне свою историю, пока нас снова не поглотит тьма.

— Выслушайте меня! Неужели я сделал бы это, чтобы спасти собственную жизнь? Господь свидетель, нет! Никогда, ни за что! Но они объявят, что это сделал я! Они объявят об этом ей. Они станут порочить мое имя перед всей Ирландией, когда я буду покоиться в холодной могиле!

Его исхудавшее тело содрогнулось от сдерживаемых рыданий, а я не знал, чем ему помочь. Наконец я произнес:

— Но, разумеется, никто им не поверит!

— Его светлость^[10] им не поверит! — страстно перебил он меня. — Разве он не посылал меня много раз с известиями к своей супруге? Разве он поступил бы так, не зная он, насколько я ему предан? Не зная он, что я готов принять за него любые муки и даже смерть?

Меня взяли у самого дворца его светлости^[11], почти на пороге, — продолжал он. — Схватили меня еще в прошлое воскресенье и с тех пор морят голодом. Всеми силами стараются выпытать у меня, у кого скрывается его светлость, и Господь свидетель, я мог бы сказать им! Я мог бы его выдать!

Я прекрасно понимал, чего он так страшится, и потому сказал: «Не бойся!» — и он, казалось, немного успокоился.

— Меня избивали, — продолжал он, — чуть не задушили во дворе Замка^[12], а потом бросили сюда. Выслушайте меня! Пожалуйста! — умолял он. — Вдруг я не успею рассказать вам все?

Вчера ко мне приходил какой-то красный мундир, офицер должно быть, и заявил, что его светлость скоро схватят. Сказал, что какой-то парень, переправлявший его последнее послание, его выдал... Сегодня утром его светлость намерен тайно пробраться в Мойра-Хаус [13], а они хотят устроить засаду и напасть на него прямо на улице. Красные мундиры говорят, он не сдастся без боя, и в этом я уверен. Но он будет один, и его ждет верная смерть. Английский офицер рассказывал мне об этом, а сам смеялся, дьяволово отродье, — смеялся потому, что, клянусь, я не мог сдерживать слез!

Тогда они подослали ко мне священника! Боже мой, да это был настоящий оборотень! Он явился ко мне глухой полночью, когда меня сотрясали дрожь и рыдания, — я не уставал оплакивать участь его светлости! Он подсел ко мне и принялся увещивать, и я решил было, что он человек достойный. Выслушайте меня! Подождите, пока я не скажу всего! Он уверил меня, что я могу спасти жизнь его светлости. Англичане тихо проберутся в дом, где он скрывается, он не успеет оказать сопротивления, и его даже не ранят. Мне достаточно лишь указать дом, где его приютили сторонники. Боже мой, я вскочил на ноги и проклял его! Его, священника! Господь да простит меня, если он и вправду был священник!

— Нет, — заверил его я, пытаюсь успокоить. — Это старый трюк.

— Тогда он ушел, — торопливо, точно в лихорадке, продолжал бедный мальчик, — но вскоре вернулся в сопровождении человека, которого я видел в Замке, — узколицего, в черном сюртуке. Священник снова стал уговаривать меня, тот, другой, стоял рядом и слушал, а я просто молчал, глядя перед собой, как будто их нет в камере. Он спросил, правда ли, что моя мать — бедная вдова, а я — ее единственный сын. Разве достойный сын не увез бы ее подальше от крови и грязи, скажем в Америку, где она могла бы окончить дни в довольстве и покое? И мне позволят это сделать, дадут денег, разрешат беспрепятственно выехать из Ирландии... Разве не в этом долг послушного сына? И тут, точно во сне, предо мной предстало лицо моей матери — гордое, исполненное поистине царственного благородства, — и я вспомнил слова, произнесенные ею при расставании: «Я отдала Ирландии твоего отца и готова отдать тебя». Боже мой, боже мой, неужели они не дьяволы в человеческом обличье? Но что же теперь мне делать?

Он застонал, ломая исхудавшие руки.

— Ты умрешь, и она сможет тобою гордиться, — сказал я.

И тогда, задыхаясь, то и дело замолкая, он продолжил:

— Человек из Замка — он был высокий, так и нависал надо мной — процедил: «А теперь ты скажешь нам все». — «Скорее я умру», — возразил я, и он улыбнулся злобной, насмешливой улыбкой, исказившей его тонкие губы: «Завтра утром ты умрешь на виселице как собака». — «Как ирландец, с Божьей помощью», — откликнулся я.

Мой ответ взбесил его, и он, схватив меня за ворот, поднес кулак к моему лицу и прошептал поистине ужасную угрозу. О боже мой! Я упал перед ним на колени, я молил его передумать, ради всего святого! Как же мне вынести это? Как же мне вынести все это?

Юношу охватили скорбь и отчаяние; вздрагивая от ужаса, он низко склонил голову.

— Утром меня повесят, — выдохнул он, не сводя с меня исполненного муки взгляда, — а его схватят и объявят, что это я его выдал. А тот самый продажный священник пообещал, что отправится к моей матери и сам скажет ей, что я совершил предательство! Он скажет, что это я выдал его светлость! Для нее это будет ужасным ударом, хуже смерти! До Страшного суда вся Ирландия будет проклинать меня как последнего предателя! Позор падет даже на мою могилу!

Я никогда не видел, чтобы хоть одна живая душа испытывала такую боль. При одном взгляде на него просто сердце разрывалось. Я собрался с силами и поклялся выполнить его просьбу. Я поклялся, что, если мне суждено выйти из тюрьмы живым, я спасу его доброе имя, поведаю его историю всей Ирландии и сохраню ее для вечности. Не знаю, слышал ли он меня; утомленный, он бессильно откинулся на стуле, вздохнул и прислонился головой к стене.

Я тоже был совершенно измучен, на грани обморока, но хотел задать ему один важный вопрос. Какое-то время я не мог вспомнить, о чем, но потом сделал над собой усилие, сосредоточился и спросил:

— А как твое имя?

Его силуэт почти растворился во мраке. Его вновь поглотила тьма и безмолвие, и голос его прозвучал словно издалека.

— Забыл, — произнес он. — Я и вправду забыл. Я не помню своего имени.

И тут камера погрузилась в крошечную тьму. Кажется, я лишился чувств. Когда меня вынесли из камеры, я был без сознания.

* * *

Макс Барри прервал ошеломленное молчание, удивленно воскликнув:

— Лорд Эдвард! Значит, минуло более ста лет!

— Бедняга! — рассмеялся неугомонный Фрэнк. — Сидеть в Килмейнхеме с тысяче семьсот девяносто восьмого года!

— Девяносто восьмого? — Ларри бросил на него быстрый взгляд. — Ты не бывал в тюремной больнице, Лиэм? А вот мне приходилось. Раньше в ней помещалась камера смертников. Там на подоконнике вырезано имя и дата — «тысяча семьсот девяносто восьмой», но имени я тоже не запомнил.

— Тогда кого-нибудь осудили, Макс? — спросила Уна. — В судебных протоколах упомянут хоть один мальчик?

Макс нахмурился:

— Не помню точно, но среди подозреваемых такой вполне мог быть, бедняга!

— Я так и не узнал, — произнес Лиэм. — Конечно, я сам почти бредил. Вдруг это была галлюцинация или сон?

Я не верила, что он в это верит, и бросила на него заговорщицкий взгляд. Он улыбнулся.

— Я хочу, чтобы ты записала это ради меня, — тихо попросил он. — Я же обещал, понимаешь?

Джозеф Шеридан Ле Фаню

РЕБЕНОК, ПОХИЩЕННЫЙ ФЭЙРИ

К востоку от древнего города Лимерик, примерно в десяти ирландских милях от горной гряды, известной как Сливилемские холмы и прославившейся тем, что среди ее утесов и ущелий нашел приют Сарсфилд^[14], когда, проявив безрассудную храбрость, перебрался через нее и отбил у англичан пушки и амуницию, предназначавшуюся для армии короля Вильгельма, проходит старая узкая дорога. Она связывает тракт Лимерик — Типперери с другим, проложенным между Лимериком и Дублином, и на протяжении почти двадцати миль тянется вдоль болот и пастбищ, по холмам и лощинам, мимо крытых соломой хижин и развалин замка.

Огибая поросшие вереском холмы, о которых я уже упомянул, один ее участок пролегает в местности вовсе пустынной и заброшенной. На протяжении более трех ирландских миль дорога там пересекает совершенно необитаемые земли. Если идти на север, то слева, сколько хватит глаз, простирается бесконечное черное, гладкое, словно озеро, болото, окаймленное чахлым кустарником. Справа возвышается длинный причудливый горный кряж, утопающий в вересковых зарослях, ощетилившийся там и сям седыми, похожими на крепостные башни скалами и прорезанный множеством глубоких оврагов и лощин, которые постепенно, по мере приближения к дороге, превращаются в горные долины, каменистые и поросшие лесом.

Вдоль этой пустынной дороги на протяжении нескольких миль тянется скудное пастбище, на котором пасутся немногочисленные тощие овцы и коровы, а под защитой небольшого холма и нескольких вязов еще пару лет тому назад таилась крошечная, крытая соломой хижина вдовы Мэри Риан.

Эта вдова считалась бедной даже в наших бедных краях. Солома, служившая кровлей, давно посерела и пожухла под струями дождя и палящими лучами солнца, и всякий прохожий еще издали замечал, насколько ветхо и непрочно ее жилище.

Но если дому вдовы и угрожало множество напастей, одной ему явно удавалось избежать, недаром его охраняли освященные веками обычаи. Хижину обступали пять-шесть горных вязов, как называют в той местности рябину, испытанную защиту от козней ведьм. К ветхой дощатой двери были приколочены две подковы, а над притолокой и по всей крыше курчавились буйно разросшиеся побеги заячьей капусты, старинного средства от сглаза и порчи, отвращавшего злые силы. Пригнувшись и войдя через низенькую дверь в плохо освещенную хижину, вы замечали, когда ваши глаза привыкали к полумраку, что в изголовье вдовьей постели с деревянным потолком на четырех столбиках висят четки и флакончик со святой водой.

Все это, разумеется, представляло собой подобие крепостных стен и бастионов для защиты от вторжения сверхъестественных сил. О соседстве с ними этому семейству, жившему в совершенном одиночестве, постоянно напоминали очертания Лиснаворы, уединенного холма, издавна считавшегося обиталищем «добрého народа», как осторожно называют фэйри крестьяне, зловещего холма, странная куполообразная вершина которого возвышалась менее чем в полумиле, словно форпост длинной горной гряды, берущей начало поблизости.

Это случилось осенней порой, на закате, когда удлиняющаяся тень населенной

призраками Лиснаворы почти коснулась порога одинокой крошечной хижины, скрыв мягкие очертания Сливиллимских холмов. Среди редящих листьев на ветвях печальных рябин, что отделяли домик от дороги, пели птицы. Трое младших детей вдовы играли на дороге, и их голоса тонули в птичьем гомоне. Старшая дочь, Нелл, в это время «хлопотала по хозяйству», как говорят крестьяне, — варила картошку на ужин.

Мать отправилась на болото принести на спине корзину торфа. Соседи побогаче в тех краях издавна, когда резали торф и складывали его стопами, неизменно оставляли как милостыню маленькую стопку для бедняков. Им позволялось отрезать от нее по кусочку, пока все не изведут (обычай достойный, не следовало бы о нем забывать), и потому в горшке у бедняков варилась картошка, а в очаге горел огонь, который без добрых жертвований нечем было бы растопить холодной зимой.

Молл Риан с трудом взобралась по крутому «борину», или узкой тропинке, по обеим сторонам поросшей боярышником и ежевикой, и, сгибаясь под тяжестью своей ноши, вошла в хижину, где к ней бросилась ее темноволосая дочь Нелл и помогла снять со спины корзину.

Вздыхнув с облегчением, Молл Риан огляделась и, отирая лоб, воскликнула, как обыкновенно восклицают уроженцы Манстера:

— Эйя, виша![\[15\]](#) До чего я устала, один Господь знает! А где же детишки, Нелл?

— Да вон они, на дороге играют, матушка. Разве вы их не видели, как к дому подходили?

— Нет, на дороге я никого не видала, — встревожилась мать, — ни души. Что ж ты, Нелл, за ними не присмотрела?

— Должно быть, они на гумне или на задворках. Позвать их?

— Позови, душа моя, ради бога. Вот уж и куры на насест забираются, и солнце как раз стояло над холмом Нокдулах, когда я шла по тропинке.

Высокая темноволосая Нелл выбежала на дорогу и принялась выглядывать своих маленьких братцев, Кона и Билла, и сестрицу Пег, а они точно сквозь землю провалились. Она звала и звала их, но с маленького гумна за чахлыми кустами до нее в ответ тоже не донеслось ни звука. Она прислушалась, однако все было тихо. Она перебралась через изгородь и кинулась на задворки, но и там было пусто.

Тогда она вышла на болото, напряженно вглядываясь в его черную гладь, но не заметила ни следа сестрицы и братцев. Снова прислушалась, но тщетно. Поначалу она сердилась, потом ей стало не по себе, и она побледнела. Со смутным предчувствием недоброго поглядела она на поросшую вереском вершину Лиснаворы, казавшуюся теперь темно-фиолетовой на фоне пылающего закатного неба.

Она снова прислушалась с замирающим сердцем, но до нее доносился только постепенно смолкавший щебет и писк птиц на ветках рябины. Сколько историй долгими зимними вечерами слышала она у горящего очага о детях, похищенных фэйри в сумерках, из мест пустынных и уединенных! Она догадывалась, что именно это кошмарное видение и преследует ее мать.

Никто во всей округе так не боялся отпустить от себя детей, как эта жившая в постоянном страхе вдова, ни одну дверь по соседству не запирали так рано.

Нелл, и без того остерегавшаяся столь коварных и злобных демонов, сейчас и вовсе затрепетала при мысли о том, что они могли забрать ее братцев и сестрицу, а страх ее подогревала тревога матери. Вне себя от ужаса, глядела она на холм Лиснавоора, то и дело

крестясь и шепча молитву за молитвой. Внезапно она словно очнулась, услышав голос матери, — та громко звала ее с дороги. Она откликнулась и бросилась к двери в хижину, у которой скорбно застыла мать.

— Господи, где же дети? Ты их так и не нашла? — простонала вдова Риан, когда дочь подбежала к ней, перебравшись через изгородь.

— Эре[16], матушка, не иначе как они решили пробежаться по дороге. Мы и глазом моргнуть не успеем, а они уж тут как тут. Они же как молодые козлята, всюду лазают да прыгают! Вот попадись они мне сейчас, уж я бы им задала!

— Господи прости, Нелл, что ты говоришь! Детей у нас забрали, а вокруг ни души, и до отца Тома бежать целых три мили. И что же нам делать, откуда помощи ждать? Увы мне, увы! Деток моих забрали!

— Тише, матушка, успокойтесь, разве вы не видите, вот они и сами, легки на помине!

И тут она грозно закричала: «Вот я вас!..» — маня и подзывая поближе детей, которые как раз показались на дороге — до того их скрывал маленький уклон. Они бежали с запада, со стороны вселявшего ужас холма Лиснавора.

Однако навстречу матери и сестре спешили только двое ребятишек, а девочка плакала. Мать и сестра бросились к ним, теперь уже обезумев от страха.

— А где Билли? Где он? — закричала мать, едва не теряя рассудок, как только дети подошли поближе.

— А Билли нет, его забрали, но пообещали вернуть, — отвечал маленький темноволосый Кон.

— Он уехал со знатными дамами, — зарыдала девочка.

— С какими дамами, куда уехал? О Лиэм, аштора[17] Душенька моя, неужели я тебя больше не увижу? Где он? Кто его увез? О каких дамах ты говоришь? Куда его увезли? — в смятении закричала она.

— Я не заметила, куда они поехали, матушка, кажется, в сторону Лиснаворы.

Едва не взыв от горя, обезумевшая женщина одна кинулась к заколдованному холму, ломая руки и повторяя имя похищенного ребенка.

Испуганная и ошеломленная, Нелл, не решаясь пойти за матерью, смотрела ей вслед и тут, не в силах сдерживаться, расплакалась; другие дети, глядя на нее, наперебой пронзительно заголосили.

Стушались сумерки. Давно прошла пора, когда они обыкновенно запирали дверь на засов, оберегаясь от вторжения злых сил. Нелл привела младших детей в дом и усадила у огня, а сама стала на пороге, в страхе ожидая возвращения матери.

Им пришлось долго ждать, пока они не увидели ее вдаль. Она вошла, села у очага и разрыдалась так, что казалось, у нее вот-вот разорвется сердце.

— Закрыть дверь, матушка? — спросила Нелл.

— Да, закрой... Как же не закрывать, если я уже потеряла сегодня одно дитя? Больше я им никого не отдам... Но сначала окропи себя святой водой, акушла[18], и принеси мне бутылочку, я тоже окроплю себя и детей. Ах, почему же ты, Нелл, этого не сделала, отпуская детей играть на улице на ночь глядя? Иди сюда, садись ко мне на колени, аштора, иди сюда, обними меня, маворнин[19], ради бога, уж я так обниму вас, что никто вас у меня не отнимет, расскажите мне все, что знаете, расскажите, как это случилось — Господь да хранит нас от всяческого зла — и кто забрал моего мальчика!

И когда дверь закрыли на засов, мальчик и девочка, то говоря хором, то перебивая друг

друга и то и дело прерываемые матерью, кое-как сумели рассказать странную и зловещую историю, которую я предпочел бы изложить связно и на моем родном языке.

Трое детей вдовы Риан, как я уже упоминал, играли на узкой старой дороге перед домом. Маленький Билл, или Лиэм, лет пяти, с золотистыми волосами и большими голубыми глазами, и вправду был пригожим мальчиком, со здоровым детским румянцем и серьезным и одновременно простодушным взглядом, какого не бывает у городских детей его лет. Его сестрица Пег, примерно годом старше, и братец Кон, старше двумя годами, составили ему компанию.

Под высокими старыми вязами, последние листья которых падали к их ногам, в лучах октябрьского закатного солнца, играли они весело и увлеченно, как истинные крестьянские дети, кричали и шумели, все это время украдкой поглядывая на запад, на мрачный холм Лиснавоора.

Внезапно за их спинами раздался пронзительный голос, почти визг, приказывавший им убираться прочь с дороги, и стоило им обернуться, как их взорам предстало зрелище, подобного которому им не приходилось видеть раньше. На дороге показалась карета, запряженная четверкой лошадей. Лошади нетерпеливо били копытами и фыркали, словно возница только что натянул вожжи. Дети чуть было не попали под колеса и едва успели отпрянуть на обочину возле двери собственной хижинки.

Карета и все ее убранство, старинное и великолепное, показались детям, никогда не видевшим ничего роскошнее повозки с торфом и только раз — старый фаэтон, проезжавший мимо их дома на пути из Киллалоу, поистине ослепительными.

Сама пышность кареты напоминала о временах, давно ушедших. Упряжь и попоны были алого цвета, расшитые золотом. Кони — огромные, белоснежные, с длинными гривами, которые, когда они беспокойно встряхивали головами, струились, вились и плыли по воздуху, словно кольца дыма, с длинными пышными хвостами, подвязанными алыми с золотом лентами. Сама карета так и сияла позолотой и роскошными гербами. На запятках стояли лакеи в ярких ливреях и треуголках, так же был одет и кучер, щеголявший в огромном парике, точно судья, тогда как у лакеев волосы были завиты, напудрены и заплетены в длинную косу с бантом, спускавшуюся по спине.

Все эти слуги были маленького роста и казались совсем крошечными по сравнению с гигантскими лошадьми. Кожа у них была землистого цвета, черты заострившиеся, а глазки маленькие, бегающие и горели, как огонь. На лицах у них застыло выражение коварства и злобы, отпугнувшее детей. Малютка кучер нахмурился и ухмыльнулся из-под полей треугольной шляпы, показывая в усмешке белые клыки и в ярости выкатывая крошечные горящие глаза-бусинки. Он несколько раз взмахнул кнутом у детей над головой так проворно и стремительно, что им показалось, будто в небе, в лучах заходящего солнца, сверкнула молния, а свист кнута прозвучал точно крик целого сонма фэйри и паков, летящих в воздухе.

— Кто посмел остановить принцессу?! — вскричал кучер пронзительным фальцетом.

— Кто посмел остановить принцессу? — эхом откликнулись лакеи, бросив на детей злобный взгляд через плечо и скрежеща зубами.

Дети так испугались, что только смотрели, раскрыв рот и побледнев, на это невиданное зрелище. Но тут отворилось окно кареты и из глубины экипажа раздался нежный голос, приказавший слугам замолчать и успокоивший детей.

Из окна им улыбалась прекрасная и необычайно «знатного вида» дама, их тотчас очаровала странная прелесть ее пленительной улыбки.

— Кажется, у мальчика золотистые волосы, — проронила она, не сводя больших, необыкновенно ясных глаз с Лиэма.

Окна и дверцы кареты были высокие и широкие, сделанные из прозрачного стекла, и потому дети заметили внутри экипажа еще одну женщину, от вида которой им сделалось не по себе.

Женщина эта была смуглая и черноволосая, с неестественно длинной шеей, отягощенной множеством крупных разноцветных ожерелий, а голову ее украшал шелковый, переливающийся всеми цветами радуги тюрбан, заколотый брошью в виде золотой звезды.

Лицо ее, худое, с широкими скулами, напоминало обтянутый кожей череп, глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а белки и крупные острые зубы особенно выделялись на фоне смуглой пергаментной кожи. Заглянув через плечо прекрасной дамы, она что-то прошептала ей на ухо.

— Да, у мальчика, кажется, золотистые волосы, — повторила та.

В ее голосе детям почудился звон серебряного колокольчика, ее улыбка очаровывала и завлекала их, словно свет блуждающего огонька, и вот она уже склонилась совсем низко, с невыразимой нежностью глядя на золотоволосого, голубоглазого мальчика, а маленький Билли, замороженный ее прелестью, улыбнулся ей в ответ, в свою очередь нежно и удивленно. Тогда прекрасная дама нагнулась, протянула ему унизанные перстнями и браслетами руки, он в свою очередь с радостью протянул ей маленькие ручки, и не успели дети и глазом моргнуть, как она со словами: «Иди сюда, поцелуй меня, душенька» — уже подняла его своими изящными, тонкими руками, легко, точно перышко, посадила на колени и стала осыпать поцелуями.

Другие дети нимало не испугались и даже готовы были поменяться местами со своим маленьким братцем, видя, какой благосклонности он удостоился. Одно лишь настораживало и немного пугало их — «черная женщина», по-прежнему выглядывавшая из-за плеча красавицы. Она поднесла к губам дорогой шелковый, расшитый золотыми нитями платок и прикусила его зубами так, что детям показалось, будто он, складка за складкой, медленно исчезает в ее широком рту. Ее словно душил смех, она тщила скрыть судорожное веселье, сотрясавшее все ее тело, однако взгляд, устремленный поверх платка на детей, выражал не веселье, а такую беспощадную, неумолимую жестокость, какой им раньше видеть не приходилось.

Но дети едва замечали «черную женщину», они не могли оторвать глаз от красавицы, а та все целовала и ласкала их маленького братца, а потом, улыбаясь, протянула детям большое румяное яблоко и, когда карета медленно тронулась, кивком пригласила детей взять яблоко и уронила его из окна. Яблоко немного прокатилось по дороге, вдоль колес, дети кинулись за ним, и тогда красавица бросила еще одно, а потом еще и еще. Однако ни одно яблоко детям не досталось: едва брат или сестра, бежавшие за каретой, поднимали катившееся по дороге яблоко, как оно выскользывало из их рук и точно само собою прыгало в яму или отскакивало в придорожную канаву, а подняв глаза, они замечали, что красавица уронила из окна следующее, и так они бежали и бежали за каретой, пока, сами того не подозревая, не добрались до старой дороги, ведущей в Оуни. И здесь копыта лошадей и колеса кареты, казалось, взбили целое облако пыли, которую внезапный порыв ветра, неведомо откуда взявшийся в этот тихий день, взметнул столбом. На мгновение он поглотил детей, потом, кружась, понесся дальше, по направлению к Лиснаворе, а карета, как почудилось детям, скрылась в самой его середине. Но внезапно этот вихрь развеялся, на

землю опали листья и солома, пыль улеглась, а белые кони, лакеи, золоченая карета, красавица и их золотоволосый братец исчезли.

В тот же миг верхний край яркого закатного солнца неожиданно пропал за холмом Нокдулах, и сгустились сумерки. Брат и сестра были потрясены этой внезапной переменой, а вид округлой вершины Лиснаворы, тень которой угрожающе нависла над ними, еще пуще их испугал.

Они отчаянно выкрикивали имя брата, но их голоса замирали в пустоте. И тут им почудилось, будто кто-то хрипло произнес у них над ухом: «Ступайте домой!»

Обернувшись и никого не увидев, дети пришли в ужас и, взявшись за руки, поспешно засеменяли обратно — девочка безутешно рыдая, а мальчик от страха белый как полотно, — и так они шли из последних сил, торопясь поведать дома странную историю, которую мы теперь знаем.

Молли Риан больше не суждено было увидеть своего дорогого сына, но брату и сестрицам несколько раз довелось взглянуть на похищенного Лиэма.

По временам, когда их мать гнула спину на сенокосе, тяжким трудом зарабатывая гроши, а Нелли мыла картошку на ужин или отбивала вальком белье в ручейке, что протекал в лощине по соседству, дети замечали пригожее личико Билли. Он лукаво посматривал на них сквозь дверную щель и молча улыбался, но едва они с радостными криками бросались к нему, чтобы обнять, как он ускользал, по-прежнему лукаво улыбаясь, а как только они выбегали из дому, оказывалось, что при свете дня он бесследно исчез.

Случалось это часто, хотя всегда немного по-разному. Иногда он выглядывал из-за двери дольше, иногда уходил быстрее, иногда высовывал маленькую ручку и пальчиком манил к себе брата и сестру, но неизменно лукаво улыбался, настороженно молчал и всегда исчезал, стоило им добежать до двери. Постепенно он стал появляться все реже и реже, а спустя примерно год и вовсе исчез, ушел навеки, хранимый лишь памятью близких наравне с покойными.

Однажды, зимним утром, через полтора года после его исчезновения, когда их мать еще засветло отправилась в Лимерик продавать на рынке птицу, маленькая Пег лежала без сна рядом с крепко спящей старшей сестрой. Внезапно при первых проблесках рассвета она услышала, как кто-то тихо приподнимает щеколду, и увидела, как в дом входит маленький Билли и осторожно закрывает за собой дверь. В доме было достаточно светло, и она разглядела, что он босой, в лохмотьях, исхудавший и бледный. Он прошел прямо к очагу, съезжившись, присел на корточки возле загухавшего торфа, стал медленно потирать руки и, казалось, дрожал, сгребая тлеющие угли.

Его маленькая сестра в ужасе стала трясти за плечо старшую, шепча: «Проснись, Нелли, проснись, Билли вернулся!»

Нелли спала крепко, но мальчик, который до этой минуты грелся у очага, обернулся и посмотрел на нее, в его взгляде ей почудился страх, а его запавшую щеку обагрят красный отблеск тлеющих углей. Он встал, осторожно, на цыпочках, не говоря ни слова, прошел к двери и пропал так же беззвучно, как и появился.

После этого никто из родных никогда больше не видел мальчика.

«Лекари, избавляющие от колдовства фэйри», как называют приглашаемых в таких случаях колдунов, делали все, что в их силах, но тщетно. В хижину Мэри Риан приходил и отец Том и пытался вернуть мальчика, прибегнув к помощи Святого Писания, но также безуспешно. И потому маленький Билли умер для матери, брата и сестер, хотя и не

упокоился в могиле. Другие, память о коих благоговейно хранят родные, лежат в освященной земле, на старом кладбище в Эйбингтоне, под могильным камнем, и близкие могут преклонить там колени и прочесть заупокойную молитву, испрашивая мира душе усопшего. Но ни один, даже крошечный, камешек не отмечал того места, где маленький Билли навсегда скрылся от их любящих взоров, местом его упокоения можно было счесть разве что древний холм Лиснавора, на закате отбрасывающий длинную тень у дверей хижины. Много лет спустя, белый и призрачный в лунном свете, он приковывал к себе взгляд Кона, когда тот возвращался с рынка или с ярмарки, и тогда он, вздохнув, произносил молитву о спасении души своего маленького брата, который исчез давным-давно и более не вернется.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

БЕЛАЯ КОШКА, ПРОКЛЯТИЕ ДРАМГАННИОЛА

Все мы еще в детстве слышали сказку о белой кошке. Но сейчас я поведаю вам историю о другой кошке, совсем не похожей на прекрасную заколдованную принцессу, что провела в кошачьем обличье одно лето. Белая кошка, о которой пойдет речь, — тварь куда более зловещая.

Путник, направляющийся из Лимерика в Дублин, оставив по левую руку холмы Киллалоу и завидев впереди очертания высокой горы Кипер, шагает вдоль гряды низких холмов, которые справа постепенно подступают все ближе и ближе к дороге. Рядом слегка идет под уклон равнина, тоже холмистая и лежащая чуть ниже дороги, а несколько унылую и печальную местность расцветивают отдельные живые изгороди.

Одно из немногих жилищ на этой уединенной равнине, над которыми поднимается торфяной дымок, — это небрежно крытый соломой, с земляным полом дом «крепкого фермера», как называют наиболее преуспевающих среди арендаторов земель в графстве Манстер. Дом этот стоит посреди купы деревьев, на берегу извилистого ручья, примерно на полпути между горами и дорогой на Дублин, и на протяжении многих поколений его арендует семейство Донован.

В этом отдаленном уголке я намеревался изучить старинные ирландские предания, которые случайно попали мне в руки, и потому стал наводить справки об учителе, способном давать мне уроки ирландского. В качестве наставника мне порекомендовали некоего мистера Донована, мечтательного, тихого, весьма ученого человека.

Я узнал, что он кончил курс стипендиатом в Тринити-колледже [\[20\]](#) в Дублине. Сейчас он учительствовал, и область моих научных интересов, полагаю, чрезвычайно льстила его национальному самолюбию, поскольку он доверился мне, поделившись со мною своими сокровенными мыслями и воспоминаниями детства о жизни в ирландской глубинке. Именно он рассказал историю, которую я намерен поведать как можно точнее, стараясь ничего не изменить.

Я своими глазами видел старую ферму, стоящую в саду, посреди огромных замшелых яблонь. Я рассматривал странный пейзаж: полуразрушенную, утопавшую в плюще башню, двести лет назад служившую убежищем в случае вторжения разбойников и до сих пор возвышавшуюся в углу гумна, поросший кустарником курган, вкакой-нибудь сотне шагов напоминавший о деяниях древнего, исчезнувшего народа, очертания темной, величественной горы Кипер вдаль, одинокую полосу колючего утесника, окаймлявшую ферму, вересковые холмы, словно очерчивавшие ее границы, кое-где серые камни и купы карликовых дубов и берез. Сама уединенность фермы превращала ее в место, где вполне могли разыгаться странные, сверхъестественные события. Я вполне понимал, что этот таинственный пейзаж, предстающий взору то в сером свете зимнего утра, то под необозримым снежным покровом, то в печальном блеске осеннего заката или в прохладных лучах луны, способен развить в человеке столь мечтательном, как достойный мистер Донован, склонность к суевериям и фантастическим видениям. Однако могу поклясться, что никогда не встречал человека более бесхитростного и честного, и потому полагаюсь на него всецело.

— Мальчиком, живя среди родных на ферме в Драмганниоле, рассказывал он, я обыкновенно брал «Историю Рима» Голдсмита [\[21\]](#) и отправлялся читать на свой любимый

плоский камень, скрытый ветвями боярышника, на берег большого глубокого пруда, из тех, что мы называем «лох», а англичане, я слышал, именуют каровыми озерами. Озерцо это лежит в небольшой низине, на поле, окруженном с севера фруктовым садом, и своей уединенностью как нельзя более подходило для моих ученых занятий.

Однажды, когда я, как обычно, сидел на своем камне, чтение наскучило мне и я принялся разглядывать окрестности, воображая, как в них разыгрываются героические сцены, о которых я только что прочел у Голдсмита. И тут я увидел, что из сада выходит какая-то женщина и начинает спускаться по склону. Уверяю вас, в тот миг я пребывал в столь же здравом уме и твердой памяти, что и сейчас. На женщине было длинное легкое серое платье, столь длинное, что стлалось по траве, и в наших краях, где женский наряд неизменно шьется по раз и навсегда установленным правилам, весь ее облик показался мне столь необычайным, что я не мог оторвать от нее глаз. Шла она, наискось пересекая широкое поле, никуда не сворачивая.

Когда она приблизилась, я заметил, что она босая и что взгляд ее, казалось, прикован к какому-то отдаленному предмету. Она вышла бы прямо на меня, если бы не озерцо ярдах в десяти от моего камня. Однако, вместо того чтобы остановиться на берегу, как я ожидал, она двинулась дальше, видимо не осознавая, что идет по поверхности воды, и так шла и шла, не замечая меня, пока не поравнялась со мной примерно там, где я и думал, и не миновала меня.

От ужаса я едва не лишился чувств. В ту пору мне было всего лишь тринадцать, но я помню все до мельчайших подробностей, словно это произошло вчера.

Призрачная женщина беззвучно проскользнула сквозь проход в дальнем конце поля и исчезла. Не знаю, как я добрал до дома... Я испытал такое потрясение, что в конце концов заболел нервической горячкой, почти месяц пролежал в постели и ни минуты не мог пробыть в одиночестве. С той поры я обходил то поле стороной — столь велик был ужас, который оно мне внушало. Даже сейчас, по прошествии многих лет, я не люблю бывать там.

Появление призрака я связывал с одним загадочным событием, а также со злым роком или, лучше сказать, фамильным проклятием, уже восемьдесят лет тяготевшим над нашей семьей. Это не пустой вымысел. Историю эту в наших краях слышал каждый, и никто никогда не подвергал сомнению, что виденный мною призрак с нею связан.

Расскажу вам все, что я об этом знаю.

Однажды, когда мне было четырнадцать лет, то есть примерно через год после того, как мне явился призрак у озера, мы поздно вечером дожидались возвращения моего отца с ярмарки в Киллалоу. Матушка не ложилась спать, чтобы встретить его, а я составил ей компанию, ведь я ничего так не любил, как подобные бдения. Мои братцы и сестрицы и все слуги, кроме мужчин, перегонявших вместе с отцом скот с ярмарки, давно спали. Мы с матушкой сидели у очага, разговаривали о том о сем и разогревали на огне отцовский ужин. Мы знали, что он вернется раньше работников, которые гнали купленный скот, ведь он поехал верхом и обещал, что только проследит, как они выйдут на дорогу, а потом оставит их и быстро поскачет домой.

Наконец мы услышали его голос, отец постучал в дверь тяжелым кнутовищем, и матушка поспешила отворить. Полагаю, что никогда не видел отца пьяным, а этим могут похвастаться лишь немногие люди моего поколения. Но стаканчик виски он пропустить мог и обычно возвращался с ярмарки или с рынка раздурявшимся, с веселым блеском в глазах, в самом добром расположении духа.

Однако в тот день он показался мне бледным, подавленным и печальным. Он вошел, держа в руках седло и уздечку, положил их на пол, прислонив к стене, возле двери, обнял жену и нежно поцеловал.

— Добро пожаловать, Михол, — сказала она, в свою очередь его целуя.

— Храни тебя Господь, маворнин[22], — ответил он.

И, еще раз обняв ее, он обернулся ко мне, ведь я тянул его за руку, тщаь привлечь его внимание. Я был невысок и худ для своих лет, он легко поднял меня на руки и поцеловал, а я обнял его за шею.

— Запри дверь на засов, акушла[23], — попросил он мать.

Матушка заперла дверь, а отец, с весьма подавленным видом опустив меня на пол, прошел к огню, сел на низкий стульчик и вытянул ноги поближе к тлеющему торфу, облокотившись на колени.

— Приободришься, Мик, душа моя, — сказала встревоженная матушка, — расскажи мне, хорошо ли ты продал скот, все ли удачно прошло на ярмарке и не был ли лендлорд чем недоволен... Что-то тебя опечалило, Мик, сердце мое?

— Ничего, Молли. Коров я продал удачно, слава богу, да и с лендлордом не повздорил, все как надо, грех жаловаться.

— А раз так, Микки, то принимайся-ка за еду, ужин стынет, и скажи нам, нет ли каких новостей.

— Я поужинал по дороге, Молли, и сейчас ни крошки съесть не могу, — ответил он.

— Поужинал по дороге, зная, что ужин ждет тебя дома и жена полуночничает! — с укором вскричала матушка.

— Ты меня не так поняла, — сказал отец. — Тут со мной такое случилось, что я ни кусочка проглотить не в силах, и я не стану темнить, Молли, ведь, может быть, мне и жить-то осталось всего ничего, так что я сразу скажу все как есть. Я видел белую кошку.

— Господь да хранит нас от всяческого зла! — побледнев, воскликнула матушка, явно потрясенная этим известием, но тотчас же попыталась овладеть собой и со смехом добавила: — Да ты со мною шутки шутить вздумал. Вот ведь в прошлое воскресенье в силки в лесу Грейди попался белый заяц, а Тиг вчера видел на гумне большую белую крысу.

— Да не заяц это был и не крыса. Неужели я, по-твоему, зайца или крысу от огромной кошки не отличу? Глаза зеленые, не меньше полупенсовой монеты, спину выгнула, сначала все трусила рядом со мной, а потом бросилась мне наперерез, того и гляди, если остановлюсь, начнет тереться о лодыжки, а то еще прыгнет и вцепится в горло. А может, это и не кошка вовсе, а кое-что похуже?

Вполголоса описав эту тварь, отец устался прямо на огонь, раз-другой отер ладонью со лба холодный пот и тяжело вздохнул или, скорее, застонал.

Матушку снова охватил страх, и она принялась молиться. Я тоже был сильно напуган и едва сдерживал слезы, потому что знал все об этом ужасном призраке.

Похлопав отца по плечу, чтобы как-то ободрить, матушка склонилась к нему, поцеловала и наконец разрыдалась. Он судорожно сжимал ее руки, и казалось, его снедает тревога.

— А когда я входил в дом, никакая тварь тут со мной не прошмыгнула? — украдкой спросил он меня.

— Нет, батюшка, вы только седло и уздечку принесли.

— Выходит, ни одна тварь сюда не проскользнула, — повторил он.

— Стало быть, так, — отвечал я.

— Оно и к лучшему, — откликнулся он, перекрестился, стал что-то бормотать про себя, и я понял, что он творит молитву.

Подождав, пока он прочитает молитву, матушка спросила, где именно повстречалась ему белая кошка.

— Когда я ехал по борину, — (так в Ирландии называют узкую тропу, вроде тех, что обыкновенно ведут на ферму), — то вспомнил, что работники гонят скот по дороге и за конем присмотреть некому. Вот я и подумал, стреножу-ка я его на маленьком поле, он ведь не разгоряченный, ехал-то я потихоньку, чуть ли не поводья опустив. И вот расседлал я его, снял уздечку, стреножил и смотрю — эта тварь как выскочит из придорожных лопухов и бросилась прямо мне под ноги, я опешил, а она эдак вышагивает впереди меня, а потом раз — и обратно, ко мне, и стала эдак заходить то справа, то слева, и все глядит на меня горящими глазами. Мне даже послышалось, будто она зарычала, а сама все не отступает, и так до тех пор, пока я не добрался до дома, сам не свой, и не постучался в дверь.

Почему же в столь незначительном происшествии мой отец, матушка, я сам и все члены нашего крестьянского семейства увидели ужасное предзнаменование? Потому что все мы без исключения верили, будто отцу моему в облике белой кошки было ниспослано предвестие скорой смерти.

До сих пор появление этого зловещего призрака всегда предвещало смерть. Так случилось и на сей раз. Примерно неделю спустя мой отец заболел лихорадкой, которая в ту пору косила в наших краях народ направо и налево, и менее чем через месяц скончался.

Тут мой достойный друг Дэн Донован замолчал, и я заметил, что он беззвучно шевелил губами, и заключил, что он читает заупокойную молитву по усопшему.

Через некоторое время он продолжил.

— Вот уже восемьдесят лет нашу семью преследует этот призрак, появление которого предвещает смерть. Неужели восемьдесят? Да, пожалуй, даже не восемьдесят, а все девяносто. А я говорил со многими стариками, которые отчетливо помнили, какие события вызвали появление этого зловещего знамения.

Вот как это произошло.

В старину ферму в Драмганниоле арендовал мой двоюродный дед, Коннор Донован. Он был богаче моего отца и деда и особенно преуспел, когда взял в аренду на семь лет ферму в Балрахане. Но деньги жестокое сердце не смягчают, а я боюсь, мой двоюродный дед был человеком злобным и черствым. К тому же был он по натуре развратен, а такие люди неизменно причиняют другим боль. Да и выпить любил, и стоило ему только разозлиться, как он пускался сквернословить и богохульствовать, нимало не заботясь о спасении своей души.

В те времена в семействе Коулмен, в горах неподалеку от Кэпперкаллена, выросла пригожая дочь. Я слышал, нынче нет более Коулменов — род их угас. Что и говорить, после Великого голода[24] многое изменилось.

Звали ее Эллен Коулмен. Коулмены были небогаты. Впрочем, такая красавица, как Эллен, могла рассчитывать на хорошую партию. Однако выбрать худшую судьбу, чем она, бедняжка, сама выбрала, и впрямь трудно.

Кон Донован, мой двоюродный дед, — прости ему Господь! — не раз видел ее на ярмарках и храмовых праздниках и влюбился, да и как было в нее не влюбиться?

Но обошелся он с ней бесчестно. Обещал жениться и уговорил переехать к нему, но в

конце концов не сдержал слова. Старая история, вы сами все понимаете. Она ему наскучила, а он мечтал выбиться в люди, вот потому и женился на девице из семейства Коллопи, за которой давали большое приданое — двадцать четыре коровы, семьдесят овец и двадцать коз.

Женился он на этой Мэри Коллопи и стал еще богаче, чем прежде, а Эллен Коулмен умерла от горя и позора. Но нашего фермера это нимало не опечалило.

Он хотел иметь детей, однако брак его остался бездетным, и это было единственным испытанием, выпавшим на его долю, потому что во всем прочем судьба к нему явно благоволила.

Однажды ночью он возвращался с ярмарки в Нинахе. В ту пору дорогу пересекал неглубокий ручеек — сейчас, как мне говорили, через него перекинули мостки, — и его русло часто высыхало в летнюю жару. Ручей близко подходит к старой ферме, русло у него прямое, неизвилистое, и потому, пересыхая, он превращается в узкую дорожку, и по нему удобно напрямик добираться до фермерского дома. Ярко светила луна, и мой двоюродный дед решил направить лошадь по этому сухому руслу, а когда поравнялся с двумя вязами у изгороди фермы, натянул поводья, повернул коня и поскакал по высохшему ручью, намереваясь проехать сквозь дальний проем в изгороди, под дубом, откуда до дверей дома оставалась какая-нибудь сотня ярдов.

Приближаясь к проему в изгороди, он заметил какую-то белую тень (хотя, возможно, она ему всего лишь почудилась), то медленно скользившую по земле, то передвигающуюся мягкими прыжками по направлению к проходу. По словам моего двоюродного деда, тень эта была невелика, не более его шляпы, но разглядеть ее очертания он не мог, понял только, что она словно проплыла вдоль изгороди и исчезла в проеме.

Однако, когда мой дед до него доскакал, лошадь вдруг заупрячилась. Он понукал и уговаривал ее, но все напрасно. Потом он спешился, подумав, что возьмет ее под уздцы, но лошадь захрапела, осела на задние ноги и затряслась. Он снова вскочил в седло. Но лошадь по-прежнему билась, не желая идти в проем, и противилась и ласке, и кнуту. В лунном свете можно было разглядеть каждую былинку, и мой двоюродный дед, не найдя, что так испугало лошадь, чрезвычайно рассердился. А так как до дома ему оставалось совсем немного, он был необыкновенно раздосадован и, потеряв терпение, принялся с проклятиями охаживать несчастную лошадь кнутом и вонзать ей в бока шпоры.

Внезапно лошадь одним прыжком ринулась в проем, и Кон Донован, пролетая под тяжелым дубовым суком, отчетливо увидел женщину, стоявшую на берегу ручья. В то же мгновение она протянула руку и ударила его по спине. От удара он упал на шею лошади, лошадь, обезумев, понесла галопом и так доскакала до самых дверей, где, дрожащая и взмыленная, остановилась как вкопанная.

Ни жив ни мертв, мой двоюродный дед вполз в дом. Он рассказал домочадцам свою историю, но кое-что утаил. Жена его не знала, что и думать. Однако она не сомневалась в том, что на мужа обрушилась какая-то напасть. Он был очень слаб, едва ворочал языком и умолял тотчас послать за священником. Укладывая его в постель, домочадцы обнаружили у него на плече, там, куда пришелся удар призрака, отпечатки пяти пальцев. Эти странные следы, по их словам весьма напоминавшие цветом отметины на теле убитого молнией, не исчезли до самой его смерти и вместе с ним скрылись в могиле.

Несколько придя в себя, он повторил собравшимся у его постели свою историю, словно предчувствуя приближение смертного часа, с тяжелым сердцем и нечистой совестью, но

притворился, будто не видел лица призрачной женщины или, по крайней мере, не узнал ее. Никто ему не поверил. Больше, чем другим, он сказал священнику. Разумеется, ему надобно было открыть тайну и облегчить душу. Впрочем, он мог ни от кого ничего не утаивать — все знали, что он видел лицо покойной Эллен Коулмен.

С того дня мой двоюродный дед так и не оправился, превратившись в боязливого, молчаливого, сломленного человека. Зловещее происшествие случилось в июне, а осенью того же года он умер.

Конечно, были устроены поминки, как и пристало по богатому, «крепкому фермеру». Однако почему-то обряд прощания с покойным совершался не совсем так, как положено.

Обыкновенно тело усопшего помещают в самой большой комнате дома, служившей и кухней, и столовой. Но в этом случае, как я уже говорил вам, от привычных правил несколько отступили. Тело покойного поместили в маленькой комнатке, из которой дверь вела в большую. Во время поминок дверь эту не закрывали. Вокруг постели зажгли свечи, на столе разложили трубки и кистеты с табаком, а для тех, кто пожелает войти, поставили стулья и распахнули дверь пошире.

Обмыв и обрядив тело, на время приготовлений к поминкам его оставили в маленькой комнатке. После наступления темноты какая-то девица зашла туда за свободным стулом и тотчас с криком выбежала. Когда она немного отдышалась в противоположном конце столовой, то пробормотала, обращаясь к ошеломленной толпе:

— Чтоб мне пропасть, если покойник сейчас не приподнял голову и не уставился на меня глазами не меньше оловянной плошки, так в лунном свете и горят!

— Эре[25], вот глупая девка! Ты что же, совсем спятила? — возмутился один из работников, которых принято величать парнями, независимо от возраста.

— Полно, Молли, глупости болтать! Ты зашла в темную комнату из светлой, и это тебе только почудилось. Да и почему ты свечку не взяла, амадан?[26] — спросила у нее подруга.

— Ну и что, ну не взяла я свечу, он все одно приподнялся в постели и как на меня уставится! А потом, клянусь чем хотите, гляжу, а рука у него вдруг стала расти, и вытянулась раза в три, и так шарит по полу, норовит схватить меня за ногу, — настаивала Молли.

— Что за вздор, Молли, зачем это ему тебя за ногу хватать, дурочка? — презрительно протянул кто-то в толпе собравшихся.

— Ну-ка, кто-нибудь, дайте мне свечку, ради всего святого, — прервала пререкания Сэл Дулан, прямая, сухощавая и строгая старуха, читавшая молитвенник по усопшим не хуже священника.

— Дайте ей свечку! — дружно провозгласили собравшиеся.

Но что бы они ни говорили, все явно побледнели и поутихли, когда двинулись в заднюю комнату следом за истово молившейся миссис Дулан, которая возглавляла это маленькое шествие, держа сальную свечку, точно тоненькую восковую.

Дверь была приоткрыта, как оставила ее испуганная девица, и, подняв свечу, чтобы лучше разглядеть комнату, старуха перешагнула порог.

Если мой двоюродный дед непостижимым образом и шарил рукою по полу, как уверяла Молли, то теперь он спрятал ее под саван, и потому миссис Дулан не грозила опасность споткнуться о нее и растянуться во весь рост. Но не успела она сделать и двух шагов со свечой, как вдруг остановилась и замерла сама не своя, не сводя глаз с постели, на которой лежал покойный.

— Господи спаси, миссис Дулан, пойдём отсюда, мэм, — прошептала женщина рядом с

ней, схватив ее за платье и в испуге оттаскивая прочь, а те, кто толпился за их спинами, отпрянули, правильно истолковав их замешательство.

— Вишт [27], что это вы расшумелись, а ну замолчите! — приказала миссис Дулан. — Я и собственного голоса не слышу от вашего гомона. И зачем пустили сюда кошку, чья она? — добавила она, подозрительно косясь на белую кошку, вспрыгнувшую покойнику на грудь. — Ну-ка унесите ее отсюда! — продолжала она, в ужасе от такого осквернения христианского обряда. — Уж сколько покойников я обмыла да обрядила, но такого не видывала. Хозяин дома лежит с медяками на глазах, а на грудь ему мерзкая тварь взгромоздилась, точно пак, прости меня, Господь, за то, что поминаю их в таком месте и в такой час! Ну-ка прогоните ее, кто-нибудь! А ну пошла прочь!

Собравшиеся повторяли это приказание один другому, но выполнять никто не спешил. Все крестились и шепотом делились своими опасениями и догадками, чья же это кошка, — ни в доме Донована, ни по соседству такой не было. Внезапно белая кошка перепрыгнула на подушку, устроилась возле головы покойного и, сидя там неподвижно, какое-то время, казалось, разглядывала его лицо горящими глазами, а потом мягко прокралась вдоль тела поближе к скорбящим гостям и хрипло, угрожающе зарычала.

Все в смятении кинулись прочь из комнаты, плотно захлопнув за собою дверь, и даже храбрый не скоро решился хотя бы заглянуть в щелку.

Белая кошка по-прежнему сидела на груди мертвеца, затем прошла по постели, соскочила на пол и под саваном, спускавшимся почти до пола, точно одеяло, исчезла с глаз.

Молясь, осеняя себя крестным знамением и не забыв окропить дверь святой водой, домочадцы и гости заглянули в комнату, а потом, осмелев, всю ее обыскали, тыча под кровать лопатами, хлыстами и вилами. Однако кошку так и не нашли и заключили, что она, должно быть, прошмыгнула у них под ногами, пока они толпились на пороге. Поэтому они тщательно заперли дверь на засов и на висячий замок.

Но, отворив дверь на следующее утро, они обнаружили, что кошка как ни в чем не бывало сидит у мертвеца на груди.

Вчерашняя сцена изгнания демона повторилась почти без изменений, вот только некоторым почудилось, будто кошка забилась за большой сундук в первой, проходной комнате, где мой двоюродный дед хранил договоры аренды и прочие бумаги, а также молитвенник и четки.

Миссис Дулан слышала, как призрачная кошка с рычанием ходит за ней по пятам, и, хотя не видела ее, почувствовала, как тварь запрыгнула на спинку стула, на котором она сидела, и громко завывала в самое ухо. Вскрикнув от ужаса, она вскочила и принялась творить молитву, ожидая, что кошка, того и гляди, вцепится ей в горло.

А церковный служака, заглянув за угол, заметил, как белая кошка уселась под ветвями старой яблони и стала неподвижно, не мигая смотреть на маленькое окно каморки, где лежало тело моего двоюродного деда, точно на птицу.

В конце концов, когда с покойным стали прощаться, кошку снова застали у него на груди, и, что бы ни делали домочадцы и гости, отогнать зловещую кошку от мертвеца им было не по силам. И продолжались появления белой кошки, став для одних соседей предметом досужих сплетен, а в других вселяя страх, до тех пор, пока наконец не открыли двери для поминок.

Мой двоюродный дед умер, был погребен с соблюдением всех надлежащих обрядов, и его история на этом завершается. Но история белого призрака имеет продолжение. Ни одна

банши не связана столь нерасторжимо ни с одним ирландским родом, как этот зловещий призрак с моим. Но есть между ними и различие. Если банши искренне горюет об утрате, постигшей семейство, членам которого она является из поколения в поколение, и сочувствует ему, то тварь, преследующая мой род, исполнена неподдельной злобы. Она лишь вестник смерти. А то, что она принимает облик кошки, самого жестокого и мстительного животного, лучше всего свидетельствует о цели его появления.

Когда приближался смертный час моего деда, который в ту пору был еще крепок и бодр, белая кошка явилась ему при обстоятельствах, весьма сходных с теми, что сопровождали смерть моего отца.

Накануне того дня, когда погиб мой дядя Тиг — в руках у него разорвалось ружье, — она явилась ему вечером, в сумерках, у маленького озерца, на поле, где я, как уже упоминал, видел призрачную женщину, шедшую по воде. Мой дядя промывал в озере ствол ружья. Трава там невысокая, спрятаться негде. Он и не заметил, как подкралась белая кошка, — а она уже тут как тут, едва не трется о ноги, сердито выгнула спину, глаза у нее горят в сумерках зеленым огнем, и как он ни старался, избавиться от нее не мог, она все крутилась поблизости, то удаляясь, то приближаясь, пока мой дядя не добрался до сада, и там она пропала.

Моя бедная тетя Пег, та, что вышла за одного из О'Брайенов и переехала в Улу, однажды пришла в Драмганниол на похороны кузины, умершей в деревушке в какой-нибудь миле от нас. И сама, бедняжка, умерла менее чем через месяц.

Возвращаясь с поминок, в два или три часа утра, она перебиралась через изгородь на ферму и тут заметила поблизости белую кошку, которая ни на шаг от нее не отставала. Моя бедная тетя едва не лишилась чувств от страха, кое-как добежала до двери, и там кошка вскарабкалась на боярышник возле самого крыльца и пропала.

Моему маленькому братцу Джиму тоже суждено было увидеть белую кошку, ровно за три недели до смерти. Любой член нашего семейства, умирающий или неизлечимо болевающий здесь, в Драмганниоле, непременно видит перед кончиной белую кошку, а увидев, знает, что жить ему осталось недолго.

Джозеф Шеридан Ле Фаню
АЛТЕР ДЕ ЛЕЙСИ
Легенда Кэпперкаллена

В юности я слышал немало ирландских преданий, повествующих о более или менее сверхъестественных событиях, зачастую очень странных и, во всяком случае для ребенка, необычайно занимательных. Одно из них я сейчас поведаю, хотя излагать на письме старинную историю, передававшуюся из уст в уста, когда в распоряжении рассказчика живой голос и мимика, возбужденные слушатели замороженно внимают ему возле камина в гостиной, а за окном завывает зимний ветер, кряхтят и стонут ветви старых деревьев и по временам дребезжит оконная рама за ставнем и занавесями, — повторю, излагать такую историю на письме по крайней мере утомительно, а то и вовсе непростительная дерзость.

Примерно посреди романтической Кэпперкалленской долины, там, где сходятся границы графств Лимерик, Клэр и Типперери, на уединенной и окруженной лесом гряде холмов Слив-Фелим, в царствование Георга I и Георга II [28] возвышались живописные и величественные руины одного из самых прекрасных англо-ирландских замков Манстера, а может быть, и всей Ирландии.

Замок венчал собою обрывистый склон поросшей дремучим лесом долины и сам скрывался среди густых деревьев, которые в изобилии произрастали на этих одиноких холмах. На много миль в округе не найти никакого жилища, кроме уютящейся на дне долины, на широкой опушке густого леса, деревушки Мёрроу, состоящей из пяти-шести хижин и крошечной, крытой соломой часовни.

Сама уединенность и труднодоступность замка уберегли его от разрушения. Никто не решился разбирать и увозить тяжелые дубовые бревна, а тем более кирпичи и каменную плитку на кровле ветшающего замка. Все, что удалось унести, местные крестьяне растащили много лет назад. Остальное было брошено и медленно уничтожалось беспощадным временем.

Из поколения в поколение этим благородным замком и прилегающими землями в трех упомянутых графствах владели представители рода де Лейси — англичане по происхождению, в давние времена поселившиеся в Ирландии и перенявшие ирландские обычаи и образ жизни. По крайней мере эту часть своих поместий они получили от короля Генриха VIII и держали, сопротивляясь превратностям судьбы, вплоть до самой революции [29] в Ирландии, когда были объявлены вне закона, лишены всех прав и, подобно многим аристократическим семействам той эпохи, навсегда исчезли.

Тогдашний владелец имения отправился в изгнание во Францию, где некоторое время служил в Ирландской бригаде [30], но впоследствии занемог. Он ушел в отставку, влачил жалкое существование при Сен-Жерменском дворе Якова II и умер в начале XVIII века — если мне не изменяет память, в 1705 году, — оставив единственного сына, едва достигшего двенадцати лет и нареченного странным, но знаменательным именем — Алтер [31].

И здесь начинается необычайная и непостижимая часть моей истории.

Умирая, отец призвал его к своему смертному одру, в присутствии одного лишь духовника потребовал, чтобы он, по достижении совершеннолетия, предъявил свои права на маленькое поместье в графстве Клэр, в Ирландии, унаследовать которое он мог по материнской линии, и вручил ему грамоты, подтверждавшие законность его притязаний. Затем он взял с сына клятву не жениться до тридцати лет, поскольку ранние браки

отвращают от смелых поисков и великих свершений и подобная женитьба не позволит ему осуществить дело всей его жизни — восстановление погрязших прав семьи. Далее он открыл сыну некую тайну, столь ужаснувшую мальчика, что тот горько заплакал и, дрожа, вцепился одной рукой в рясу священника, другой схватил холодеющее запястье отца и стал со слезами умолять его взять назад страшное признание.

Однако священник, несомненно осознавая необходимость такого шага, принудил его выслушать все до конца. Затем отец показал ему миниатюрный портрет, от которого мальчик также отпрянул с криком и на который отказывался взглянуть, пока его снова к этому не принудили. Отец и его духовник не отпускали мальчика, пока тот не запомнил черты изображенного на портрете и не смог подробно описать их по памяти, включая цвет глаз и волос, покрой и отделку платья. Потом отец дал ему этот портрет в полный рост, представлявший собою миниатюру дюймов девяти в длину, выполненную весьма изрядно маслом, гладкую, словно эмалевую, завернутую в лист бумаги и помещенную в черную шкатулку. Лист же был исписан ясным и разборчивым почерком.

Грамоты, подтверждавшие право собственности на землю, и эта черная шкатулка составляли все наследство разоренного якобита, которое он завещал своему единственному сыну и передал в руки священника, чтобы тот хранил его до тех пор, пока Алтер не достигнет возраста, когда сможет понять их важность и должным образом сберечь.

Исполнив свой долг, умирающий, должно быть, испытал облегчение, поскольку приободрился и сказал, что может поправиться. Вместе со священником он принялся утешать плачущего сына, дал ему серебряную монету купить яблок и послал погулять вместе с другим мальчиком, а когда Алтер вернулся, отец уже испустил дух.

Он оставался во Франции, опекаемый этим священнослужителем, до достижения двадцати одного года, затем уехал в Ирландию, а поскольку объявление его отца вне закона не лишало его права на земли матери, он без труда вернул себе маленькое поместье в графстве Клэр.

Там он и поселился, время от времени в унынии и в полном одиночестве объезжал обширные земли, некогда принадлежавшие его отцу, и лелеял мрачные и несбыточные надежды, как обыкновенно случается с теми, кто одержим безнадежным замыслом.

Случалось ему приезжать и в Париж, издавна привлекавший разочарованных изгнанников из Англии, Ирландии и Шотландии. Там, тридцати с небольшим лет, он женился на дочери одного ирландского семейства, тоже разоренного. Его молодая жена вернулась вместе с ним в его уединенную и печальную манстерскую вотчину, где родила ему двух дочерей. Старшая, серьезная и благоразумная, Алиса, была темноглазая и темноволосая, а Уна, четырьмя годами младше, — с большими голубыми глазами и шелковистыми золотыми косами.

Их бедная мать по природе была, вероятно, беззаботной, общительной и живой, однако от ее веселого нрава, детской резвости и непосредственности вскоре не осталось и следа — она зачахла под бременем одиночества и уныния, ставших ее судьбой. Так или иначе, она умерла молодой, а о дочерях отныне заботился меланхолический и ожесточенный отец. Как гласит предание, они выросли настоящими красавицами. Старшую с детства прочили в монастырь, а младшую отец надеялся выдать за человека благородного, чему порукой были ее высокое происхождение и несравненная красота, если бы только отцу удалось выиграть в крупной игре, в которой он поставил все на карту.

Глава вторая

ФЭЙРИ В ЗАМКЕ

Вспыхнуло восстание 1745 года, и Алтер де Лейси оказался в числе немногих ирландцев, преданных во время этого дерзкого и заведомо обреченного на провал мятежа. Разумеется, был подписан ордер на его арест, но найти его не сумели. Дочери по-прежнему жили в его уединенном доме в графстве Клэр, и даже они некоторое время не имели никаких вестей о том, бежал ли их отец на континент или до сих пор остается в Ирландии. Со временем он был объявлен вне закона и лишен всех прав, а его маленькое имение отобрано в казну. На барышень обрушилось истинное бедствие — нищенками очнулись они от сна, в котором им всю жизнь мнилось возвращение утраченного великолепия.

В должный срок явились описывать имущество судебные исполнители, и молодым леди пришлось тайно бежать. К счастью для них, священник, о котором я упоминал, в отличие от их отца, был не столь уверен в том, что тому удастся вернуть прекрасное имение предков. По его совету, согласно брачному договору родителей, Алисе и Уне полагалось по двадцать фунтов в год, и теперь лишь эта сумма отделяла гордый род де Лейси от нищеты.

Однажды, поздно вечером, деревенские ребяташки, бродившие по темной и извилистой Кэпперкалленской долине, возвращались домой, набив карманы орехами и фрокенами [32]. Вдруг, к своему изумлению и даже ужасу, они заметили, что из узкого окна скрытой плющом и ветвями могучих деревьев башни, нависшей над пропастью, льется красноватый свет, особенно яркий на фоне сгущающихся сумерек, затопивших долину.

— Смотрите, смотрите, не иначе как там, в башне, поселились духи и гоблины! — наперебой закричали дети по-ирландски и бросились врассыпную.

Бежать по руслу долины, усеянному крупными камнями и поросшему могучими деревьями и густым кустарником, было по меньшей мере неудобно. Уже стемнело, и дети рисковали сломать себе шею, продираясь сквозь ежевику и орешник и перепрыгивая с валуна на валун. Маленький Шейн Мал Риан, отстав от друзей, повторял: «Подождите!» — но тут из ивовых зарослей у подножия каменной лестницы, проложенной по склону долины, вдоль стены замка, метнулась какая-то призрачная белесая тень, мальчик почувствовал, что кто-то поймал его за шиворот, и грубый мужской голос прорычал: «Вот я тебя!..»

Мальчик завопил от ужаса, споткнулся и кубарем покатился по земле, но в ту же минуту его грубо схватили за руку и подняли, как следует встряхнув.

Шейн Мал Риан вскрикнул, сам не свой от страха, и, плача, умолял его отпустить.

— Кто это, Ларри, что там за шум? — послышался сверху, из окна башни, голос, заглушаемый шелестом деревьев, — звонкий и нежный, точно низкие ноты флейты.

— Да ребенок, миледи, мальчишка.

— Он поранился?

— А ну отвечай, ты цел? — напустился на мальчика белый человек, по-прежнему держа его за руку, и повторил свой вопрос по-ирландски, но ребенок только всхлипывал и молил о пощаде, сложив ладони и норовя упасть на колени.

Однако сильная рука старого Ларри держала его почти на весу. Мальчик и вправду поранился, кровь тонкой струйкой стекала у него по виску.

— Он чуть-чуть поцарапался, миледи!

— Приведи его сюда.

Шейн Мал Риан сдался. Он понял, что очутился среди «добрého народа» и теперь останется у него в плену на целую вечность и еще один день. Сопротивляться было бессмысленно. Совершенно смущенный и озадаченный, он смирился с судьбой невольника и покорно позволил увести себя из долины на уступ, уже не пытаясь вырваться из цепких узловатых рук старика Ларри. Он лишь робко и замороженно глядел на высокие величественные деревья и седой фасад замка, слабо различимый в лунном свете, словно они привиделись ему во сне.

Шейн Мал Риан едва поспевал за длинными журавлиными ногами старика и украдкой рассматривал его поношенный белый сюртук с синей отделкой и большими оловянными пуговицами, серебристо-седые волосы, выбивавшиеся из-под выдавшей виды треуголки, и смышенное, решительное лицо, изборожденное морщинами. Не выражавшее и тени сочувствия, лицо это, белое и призрачное в лунном свете, как представлялось мальчику, вполне соответствовало облику истинного фэйри.

Старик молча провел его под высокой аркой ворот, потом по заросшему бурьяном двору, потом к двери в дальнем углу замка, потом по бесконечным каменным ступеням темной кругой лестницы, потом по короткому коридору в большой зал, где дрова и торф горели в очаге, в котором явно давным-давно не разжигали огонь. Над огнем висел котел, и в нем деловито помешивала длинной деревянной ложкой старуха. Зал освещала всего одна свеча в медном подсвечнике, а на полу, на столе, на стульях громоздилась всевозможная утварь, груды выцветших гобеленов, ларцы, сундучки, скатерти, оловянные блюда и кубки.

Однако испуганный взгляд мальчика тотчас приковало к себе не убранство зала, а две девицы. На них были красные домотканые плащи, вроде тех, что носят крестьянки в Манстере и Коннахте, да и остальной их убор весьма напоминал своей незатейливостью наряд простонародья. Но держались они с таким достоинством, пленяли такой утонченностью манер, такой красотой и, главное, так привыкли повелевать, что не узнать в них благородных леди было невозможно.

Старшая, черноволосая, с серьезными карими глазами, что-то писала, сидя у свечи за простым дубовым столом, и подняла голову, когда вошел мальчик. А от младшей, откинувшей капюшон плаща, прекрасной и веселой, с водопадом волнистых золотых волос и большими голубыми глазами, с выражением доброты и лукавства, мальчик не мог отвести взгляд, — такой красивой она ему показалась.

Леди стали о чем-то спрашивать старика на языке, которого мальчик не знал, явно не на английском, ведь английским он кое-как владел. Казалось, рассказ старика их развеселил. Леди обменялись взглядом и загадочно улыбнулись. Теперь Шейн Мал Риан окончательно уверился, что пребывает среди «добрého народа». Младшая с веселым видом подошла к нему и сказала:

— А знаешь ли ты, кто я, мой мальчик? Нет? Так знай же, я фэйри Уна, и ты перенесен в мой дворец. Вот эта фэйри, — произнесла она, указывая на темноволосую леди, в эту минуту искавшую что-то в ларце, — моя сестра и лейб-медик, госпожа Тьма-и-мрак, это, — указывая на старика и старуху, — мои придворные, а я сейчас раздумываю, как же мне с тобою поступить: не послать ли тебя верхом на камышинке на дно озера Лох-Гур, в заколдованный замок графа Десмонда, — передать от меня поклон? А может быть, немедля отправить тебя в мою подземную темницу, скрытую глубоко-глубоко, где тебя будут неусыпно стеречь мои верные гномы? Или заточить тебя на обратной стороне луны, а твоим тюремщиком назначить лунного человека, и там, на луне, ты будешь томиться трижды

триста лет и еще один день! Ах, нет, не плачь! Я только пугала тебя, чтобы ты и твои друзья забыли дорогу к замку. На сей раз я тебя прощу. Но отныне любой мальчишка, которого я или мои придворные поймаем в окрестностях замка, будет принадлежать нам вечно и никогда больше не вернется домой.

Прочитав Шейну это маленькое наставление, она пропела старинную песенку и, напустив на себя таинственность, проделала несколько танцевальных па, придерживая плащ тоненькими пальчиками, а под конец присела в глубоком реверансе, чем повергла Шейна в неопишное смущение.

После этого, негромко рассмеявшись, она произнесла:

— Ну что ж, а теперь осмотрим твою рану.

С этими словами леди промыли царапину, а старшая заклеила ее пластырем. Потом голубоглазая леди достала из кармана маленькую коробочку французских леденцов и высыпала ее содержимое мальчику на ладонь, прибавив:

— Не бойся, они не отравленные, можешь спокойно их есть, а я велю моему фэйри Бланк-э-блэ вывести тебя из замка. Проводи его, — приказала она Ларри, — да не забудь на прощание хорошенько ему напомнить, чтобы не смел более здесь появляться.

А старшая, взглянув на нее с печальной и нежной улыбкой, промолвила:

— Ах, милая Уна, вечно ты со своим сумасбродством и проказами! Что бы ни случилось, твой нрав неизменно весел.

А Уна, смеясь, поцеловала ее в щеку.

Снова отворилась дубовая дверь, и Шейн вместе с Ларри, который крепко держал его за руку, спустились вниз по лестнице. В угрюмом молчании он прошел вместе с мальчиком по заросшему кустарником склону холма примерно с полпути до деревушки Мёрроу, а потом остановился и произнес по-ирландски:

— Ты впервые увидел фэйри, друг мой, а увидевшим нас не часто случается возвратиться в земной мир и о том поведать. Тот, кто — ночью ли, днем — зайдет за этот камень, — и Ларри постучал по нему тростью, — больше не вернется домой, потому что мы заберем его до Страшного суда. Спокойной ночи, сорванец, теперь ступай...

Выходит, это барышни Алиса и Уна с двумя старыми слугами по распоряжению отца поселились в той части уединенного старого замка, что возвышалась над долиной. Они перевезли туда мебель и ковры из своего прежнего дома в графстве Клэр, заменили разбитые стекла, починили нехитрую утварь, как следует проветрили комнаты и кое-как сделали эту часть замка пригодной для жилья, превратив ее во временное пристанище, пусть и суровое и негостеприимное.

Первое время они, разумеется, почти не виделись с отцом, да и вести от него получали редко. Однако они знали, что он намерен поступить на военную службу во Франции и со временем выписать их к себе. В нынешнем странном пристанище им, как они полагали, предстоит прожить совсем недолго, и потому они со дня на день ждали известия от отца, вызывающего их на континент.

Спустя некоторое время повстанцев преследовали уже не столь жестоко, как поначалу. Правительство, скорее всего, уже нисколько не заботило, куда Алтер де Лейси направился и где скрывается, при условии, что он никого более не подстрекает к мятежу и нигде не показывается. Во всяком случае, местные власти ничего не предпринимали для его поимки. Когда отобранное имение выставили на торги, молодым леди без проволочек выплатили часть его стоимости, и никто не полюбопытствовал, куда же делась мебель и другое движимое имущество, которое увезли из конфискованного дома.

Слава замка с привидениями — а в те времена в чудеса верили и стар и млад — обеспечила семейству желанное уединение. Раз, а то и два в неделю старый Ларри еще затемно тайком запрягал низкорослого мохнатого пони, отправлялся в Лимерик и под покровом ночи возвращался с покупками. Время от времени, в лунные ночи, старый приходский священник украдкой пробирался в замок отслужить мессу для маленькой паствы, объявленной вне закона.

Как только всеобщее смятение улеглось и мятежников перестали искать, отец стал изредка тайно навещать их. Вначале он решался пробыть только одну ночь и принимал все меры предосторожности, чтобы его не обнаружили в замке, но постепенно стал проводить с дочерьми по несколько дней и уже не так тщательно скрывался. Однако он был, как говорят в Манстере, всегда начеку. У постели он неизменно держал заряженное ружье и приготовил в замке несколько потайных мест на случай, если его попытаются захватить врасплох. Но поскольку власти, казалось, о нем забыли, он если и не воспрянул духом, то несколько успокоился.

Наконец он стал оставаться в замке на целых два месяца кряду, а потом уезжал столь же внезапно и таинственно, как и появлялся. Вероятно, он, как обычно, лелеял план какого-то заговора, вынашивал замыслы якобитского восстания и жил в постоянном лихорадочном возбуждении, питаемый тщетными надеждами.

Не заключалась ли некая идеальная справедливость в том, что маленькому семейству, тайно обосновавшемуся в уединенном, полуразрушенном замке, суждено было самому испытать то сверхъестественное влияние каких-то загадочных существ, которое оно в шутку себе приписывало?

Первым следствием вмешательства потусторонних сил явилось то, что старый священник перестал тайно навещать своих прихожан в замке. Однажды ночью, оставив свою лошадку у ризничего в деревне, он зашагал по извилистой тропке, петляющей меж серыми валунами и зарослями папоротника в горной долине, намереваясь подать духовное утешение прекрасным затворницам, и непостижимым образом заблудился.

Ночь та была и вправду лунной, но на небе вышел всего-навсего тоненький месяц, который то и дело заволакивала длинная череда мрачных, медленно проплывающих облаков,

и потому свет падал слабый, тусклый, а бывало, что на минуту-другую месяц и вовсе скрывался, и тогда наступала тьма. Дойдя до того места, откуда вела лестница в замок, священник понял, что не может найти ее, а на краю долины не увидел знакомых очертаний замковых башен. Несколько озадаченный, он двинулся дальше по лощине, недоумевая, отчего его обычный путь выдался столь долгим и утомительным.

Наконец он смог ясно разглядеть замок и различить пламя одинокой свечи в одном из окон — условный знак, что его ждут. Однако он не сумел найти лестницу и принужден был с трудом взбираться по крутому склону, огибая камни и заросли густого кустарника. Вскрабкавшись наверх, он с удивлением обнаружил, что стоит посреди вересковой пустоши. Потом облака вновь скрыли месяц, и он стал медленно, ощупью пробираться вперед, пока наконец снова не заметил очертания замка, отчетливо выделявшиеся на фоне неба. Но на сей раз оказалось, что священник принял за него контуры огромной зубчатой тучи на горизонте. Спустя несколько минут ему почудилось, будто он почти набрел на смутно мерцавшую в неверном свете месяца серую стену замка, и, только стукнув по ней своей увесистой дубовой палкой, он понял, что перед ним дикий серый утес причудливой формы, из тех, что живописными террасами вздымаются по склонам этих одиноких гор. Так он блуждал по рытвинам и оврагам, пытаясь попасть в призрачный замок, до самого рассвета, пока совсем не растерялся и не выбился из сил.

В другую ночь, решив проехать верхом часть пути по плоской долине, а потом, как обычно, привязать лошадь к дереву, он внезапно услышал ужасный крик, раздавшийся с отвесной скалы у него над головой. В тот же миг что-то — по-видимому, огромное человеческое тело — рухнуло, ломая ветки, вниз головой с утеса, со страшным шумом упало прямо под копыта лошади и осталось лежать там гигантской обмякшей тушей. Лошадь испуганно осела на задние ноги, а всадника прошиб холодный пот, и он совсем обезумел от страха, когда это безжизненное тело, распростертое на земле, вдруг вскочило и, раскинув руки, словно преграждая путь, приблизило к нему огромное белесое лицо. Тут лошадь встала на дыбы и, в ужасе заржав и едва не сбросив седока, понеслась прочь бешеным галопом.

Нет нужды перечислять все странные злоключения, которые пережил бедный священник, пытаясь навестить одиноких обитателей замка. В конце концов они настолько утомили и испугали его, что он утратил свою прежнюю решимость и смирился. Поэтому его пастырские визиты вовсе прекратились, а днем он не рисковал приезжать в замок, опасаясь вызвать пересуды и подозрения.

Поэтому молодые леди в замке еще сильнее стали ощущать свое одиночество. Отец, приехавший теперь часто и остававшийся надолго, в последнее время совсем перестал говорить о том, что им предстоит перебраться во Францию, гневался всякий раз, стоило лишь об этом упомянуть, и, очевидно, к немалому их огорчению, навсегда отказался от этого замысла.

Вскоре после того, как визиты священника в замок прекратились, старый Лоренс ночью заметил свет в одном из окон колокольни и был немало удивлен. Поначалу из окна во двор замка падал всего лишь едва различимый красноватый лучик, то почти затухающий, то загорающийся снова, а спустя несколько минут он совсем потускнел, словно свечу унесли из комнаты. Колокольня с освещенным окном располагалась в угловой башне, прямо напротив той, где поселилось маленькое семейство изгнанника.

Все были встревожены, услышав о появлении этого тусклого красного света. Никто не знал, откуда он взялся. Однако Лоренс, побывавший со своим старым господином, дедом барышень, — упокой Господь его душу! — в итальянской кампании, решил во что бы то ни стало выяснить, что там творится, взял пару кавалерийских седельных пистолетов и поднялся по крутой лестнице на колокольню. Впрочем, поиски его оказались тщетны.

Свет в окне колокольни чрезвычайно обеспокоил обитателей замка, им, разумеется, сделалось не по себе при мысли, что в их жилище обосновался еще один постоялец, возможно непредсказуемый и опасный, а то и целая колония.

Вскоре свет в той же комнате появился снова и на сей раз горел дольше и ярче. Снова старый Лоренс выхватил пистолеты, поклявшись выследить злодея и теперь уже вознамерившись, если надобно, не выпустить его живым. Молодые леди замерли в тревожном ожидании, выглядывая из большого окна в их собственной твердыне. Однако едва Лоренс поднялся на колокольню и приблизился к комнате, в которой виднелось зловещее красноватое свечение, как оно стало тускнеть и вскоре совершенно исчезло, не успев Лоренс прокричать из сводчатого окна: «Куда же оно подевалось?»

Наконец свет в окне колокольни стал появляться почти каждую ночь. Именно там в давние недобрые времена прежние представители рода де Лейси решали судьбу плененных врагов по законам феодального права и, как уверяло предание, зачастую даровали осужденным для молитвы и исповеди времени не более, чем требовалось для того, чтобы взойти на зубчатую стену башни, где их немедля и казнили через повешение, для примера и устрашения возможных злоумышленников, наблюдавших за казнью из долины.

Старый Лоренс с тревогой смотрел на мерцающий свет на колокольне, ожидая всяческих напастей, и измышлял хитроумные планы, чтобы захватить дерзких незваных гостей врасплох, но тщетно. Однако никто не станет спорить, что сколь бы странным и зловещим ни казалось нам некое явление, если мы замечаем его часто и если оно не сопровождается более никакими ужасами, оно в конце концов перестает нас тревожить и даже занимать наше воображение.

Итак, обитатели замка привыкли к этому таинственному свету. Никакого вреда он им не причинял. Старый Лоренс, покуривая трубку в заросшем сорняками замковом дворе, не без опасения вглядывался в маленький язычок пламени, мерцавший в темном оконном проеме, и вполголоса произносил молитву, а то и потихоньку клялся разведать, кто же там скрывается. Однако преследовать незваных гостей он давно перестал, сочтя, что это бесполезно. А Пегги Салливан, старая служанка, случайно увидев краем глаза сияние, льющееся из окна облюбованной призраками башни, — обычно она избегала на нее даже смотреть, — неизменно крестилась и перебирала четки, на лбу у нее резче обозначались

глубокие морщины, и она темнела лицом. И тревогу ее нисколько не рассеивала легкость, с которой стали говорить и даже шутить о призраке молодые леди, оправившись от первого испуга, привыкнув и преисполнившись к этому загадочному огню некоторого пренебрежения, как ко всему хорошо знакомому.

Однако, едва первое волнение улеглось, Пегги Салливан подняла новый переполох, торжественно поклявшись, что видела на закате, как раз когда молодые леди вышли погулять под стенами замка, в том самом окне худого, изможденного человека с красным родимым пятном во всю щеку.

Барышни решили, что старой служанке все это приснилось, но теперь у них был повод пошутить утром и испытать легкое, не лишнее приятности волнение вечером, когда ночь окутывала огромный уединенный замок покровом тьмы. Однако вскоре, подобно тому как слабое мерцание огонька сменяется ровным ярким светом, их догадки сменились совершенной уверенностью.

Старый Лоренс, не склонный к пустым фантазиям, здравомыслящий и наделенный орлиным зрением, примерно в то же время, что и Пегги, когда последние лучи заката окрасили пурпуром шпили башен и верхушки соседних деревьев, заметил в окне того самого человека.

Лоренс как раз вошел во двор через главные ворота, как вдруг услышал громкое встревоженное чириканье воробьев, которое они обыкновенно поднимают, заведя своих старинных врагов — ястреба или кошку. Казалось, ожили густые заросли плюща на стене слева, и Лоренс, невольно подняв глаза, но не ожидая увидеть ничего необычного, с ужасом разглядел в нише окна, откуда падал загадочный свет, худого, невзрачного человека, скрестившего ноги, опиравшегося на каменный переплет окна и со злорадной ухмылкой посматривавшего вниз, — щеку его целиком покрывало ярко-красное родимое пятно.

— Теперь ты от меня не уйдешь, негодяй! — вскричал Ларри в приступе ярости и страха. — Ну-ка спрыгивай оттуда и сдавайся, а не то застрелю!

Подтвердив свою угрозу проклятием, он выхватил из кармана один из длинных кавалерийских пистолетов, что повсюду носил с собой, и ловко прицелился в незнакомца.

— Считаю до десяти — раз, два, три, четыре... Шаг назад — стреляю, смотри, я не шучу... пять, шесть — лучше тебе поторопиться... семь, восемь, девять... Даю тебе последний шанс. Спускаешься? Нет? Тогда получай!

И он выстрелил. От жуткого незнакомца Ларри отделяло всего футов пятнадцать, а стрелок он был хоть куда. Однако на сей раз он позорно промахнулся, поскольку пуля только поцарапала побелку на каменной стене в ярде от его цели, а незнакомец даже не пошевелился и продолжал язвительно ухмыляться как ни в чем не бывало.

Ларри вскипел от унижения и злости.

— Ну теперь-то я до тебя доберусь, приятель! — прохрипел он со злобной усмешкой, вытаскивая вместо пистолета с дымящимся стволом запасной, уже заряженный.

— В кого это ты палишь, Ларри? — произнес знакомый голос у него над ухом, и, обернувшись, он увидел своего хозяина, которого сопровождал красивый юноша в дорожном плаще.

— Да вот в того мерзавца, ваша милость.

— Там же никого нет, Ларри, — удивленно сказал де Лейси и рассмеялся, что было у него не в обычае.

На глазах у Ларри зловещий незнакомец словно растаял и исчез без следа. Там, где

мгновение назад красовалось его обезображенное лицо, теперь медленно покачивались на ветру красно-желтые плети плюща, там, где только что виднелся его силуэт, отчетливо проступила полуразрушенная и выцветшая каменная кладка, а его длинные журавлиные ноги оказались двумя скрещенными полосками красно-желтого лишайника. Ларри перекрестился, отер пот со лба и на минуту от смущения лишился дара речи. Нечистый сыграл с ним злую шутку, не иначе; он готов был поклясться, что прекрасно различал лицо незнакомца, даже кружева и пуговицы на его плаще и камзоле, даже тонкие смугловатые пальцы с длинными ногтями, вцепившиеся в оконный переплет, на котором теперь не осталось ничего, кроме пятна ржавчины.

Молодой джентльмен, веселый и любезный француз, приехавший вместе с де Лейси, пробыл в замке целый день и с радостью разделил с маленьким семейством скромную вечернюю трапезу. Красота, остроумие и живой нрав младшей барышни, по-видимому, произвели на него глубокое впечатление, — расставаясь с ней, он сожалел о том, что провел в ее обществе столь малое время, и был, несомненно, опечален.

Ранним утром, когда француз уехал, Алтер де Лейси долго беседовал со старшей дочерью, пока младшая, как обычно, доила маленькую черную коровку южноирландской породы, которую эта *proles generosa* [33] числила среди своих вассалов в заколдованном царстве.

Отец поведал Алисе, что побывал во Франции, сказал, что король обошелся с ним необычайно милостиво, и добавил, что нашел для ее сестры Уны прекрасную партию. Избранный им молодой человек был высокого происхождения и, хотя был небогат, владел землей и *pot de terre* [34], а также имел чин капитана гвардии. Речь шла о молодом французе, который только что был их гостем. Какие именно обстоятельства потребовали его присутствия в Ирландии, Алтер де Лейси уточнять не стал, однако подчеркнул, что воспользовался случаем представить дочери будущего жениха и понял, что она произвела на француза именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

— Ты ведь знаешь, дорогая Алиса, я принес обет отдать тебя в монастырь. Если бы не это...

Он чуть помедлил.

— Вы правильно поступили, батюшка, — сказала она, поцеловав ему руку. — Я и в самом деле чувствую склонность к духовному призванию, и никакие земные узы или соблазны не заставят меня отречься от монашеского поприща.

— Что ж, — ответил де Лейси, в свою очередь с нежностью погладив ее по голове, — я вовсе не намерен тебя торопить. Лучше будет, если ты пострижешься в монахини после того, как Уна выйдет замуж. Однако свадьба ее, по многим веским причинам, может состояться лишь через год. К тому времени мы оставим это странное прибежище, недостойное благородных де Лейси, и переберемся в Париж, где найдется немало монастырей, готовых с радостью принять тебя и числящих меж насельниц француженок самого высокого происхождения. Хоть имя де Лейси исчезнет, во Франции, благодаря замужеству Уны, продолжится наш род. В жилах ее потомков будет течь наша благородная кровь, они смогут заявить права на земли предков, ибо рано или поздно справедливость восторжествует и представители нашего рода, вернув себе славу и могущество, возвратятся в эту страну, где прежде познали величие и претерпели страдания. Но пока нам не следует упоминать при Уне, что она уже просватана. Здесь, в уединении, некому ухаживать за нею и пленить ее. Но стоит ей узнать, что ее судьба решена окончательно, она может заупрямиться и возроптать, а

нам с тобою этого не надобно. Посему храни молчание.

В тот же вечер он отправился с Алисой прогуляться, говорили они о вещах скорбных и неутешительных, и де Лейси, как обычно, рисовал перед ее внутренним взором смутные воздушные замки, возведению коих он чаще всего и предавался, воскресая душою и оживляясь за этим бесплодным занятием.

Они медленно шли по мягкой темно-зеленой дерновой лужайке, тянувшейся меж стеной замка и опушкой леса, как вдруг, огибая колокольню, столкнулись с человеком, который шагал им навстречу. Заметив незнакомца, Алиса, на протяжении многих месяцев видевшая в замке лишь молодого француза, представленного отцом, была столь поражена и испугана, что на мгновение замерла.

Однако ее ошеломила не внезапность, с которой точно из-под земли появился незнакомец, а мрачные и зловещие черты его облика. Был он высок и тощ, нехорош собою, одет в поношенный костюм скорее испанского покроя — в коричневый, отделанный кружевом плащ и выцветшие алые чулки. Его длинные журавлиные ноги, длинные руки, длинные тонкие пальцы, длинное и худое болезненное лицо, длинный унылый нос, язвительная, саркастическая усмешка и особенно пурпурно-красное родимое пятно производили впечатление самое отталкивающее.

Проходя мимо, он дотронулся до берета изможденными, бескровными пальцами, злорадно покосился на де Лейси и Алису и исчез за углом. Отец и дочь безмолвно проводили его взглядом.

Вначале Алтер де Лейси, казалось, оцепенел от ужаса, а затем впал в буйную ярость. Он отшвырнул трость, выхватил шпагу и, забыв о дочери, бросился за незнакомцем.

Но де Лейси успел только заметить, как качнулось перо на его берете, мелькнули жидкие развевающиеся волосы, дрогнул кончик шпаги, взметнулись полы плаща, скрылись за углом красные чулки и башмаки, — и незнакомец точно сквозь землю провалился.

Когда Алиса догнала отца, тот стоял, по-прежнему сжимая обнаженную шпагу, взволнованный и глубоко опечаленный.

— Слава богу, он ушел! — воскликнула она.

— Ушел, — безучастно повторил де Лейси, глядя куда-то в пустоту.

— И вы в безопасности, — добавила она, взяв его за руку.

У него вырвался тяжелый вздох.

— Как вы думаете, батюшка, он не вернется?

— Кто «он»?

— Незнакомец, который только что прошел мимо! Вы знаете его, батюшка?

— И да и нет, дитя мое... Я его не знаю и вместе с тем знаю его слишком хорошо... Я готов отдать все на свете, лишь бы немедля покинуть это обиталище призраков... Будь проклята бессмысленная злоба, породившая дух этой ужасной вражды, который не в силах умиротворить никакие жертвы, не в силах умилоствовать никакие страдания... Изгнать или хотя бы отсрочить этот злой рок не способны даже благодетельные церковные обряды... Негодяй прибыл издалека с единственной целью — лишить меня моей последней надежды, загнать нас в наше последнее убежище, точно диких зверей в нору, уничтожить весь наш род и с торжеством насладиться зрелищем нашей гибели. Почему этот глупый священник перестал навещать моих детей? Неужели мои дочери будут лишены мессы и исповеди — святых таинств, которые не только спасают душу, но и защищают от всяческого зла, — потому что он однажды заблудился в лесу или принял белую пену в ручье за лицо утопленника? Будь он

неладен!

Что ж, Алиса, — продолжал де Лейси, — если он не придет, вам с Уной надлежит исповедаться перед ним, изложив все грехи на бумаге. Лоренсу можно доверять, Лоренс передаст вашу исповедь, и мы добьемся для него у епископа, а если понадобится, то и у самого Папы, разрешения отпустить вам грехи. Я сделаю все, лишь бы вы причастились таинств, бедные дети, и не остались без попечения Церкви. Я довольно грешил в юности и не тщусь показаться праведником, но знаю, что есть лишь один верный путь и... И пока живете здесь, ни на миг не расставайтесь с этим (он открыл маленькую серебряную шкатулку), сложите ее, благоговейно творя молитву, зашейте в пергамент с псалмом и носите на сердце. Это освященная облатка, она, вместе с заступничеством святых, охранит вас от зла... Неукоснительно соблюдайте посты, усердно возносите молитвы Господу — я более ничего не могу для вас сделать. Воистину, проклятие пало на меня и на моих домочадцев.

Он замолчал, и Алиса увидела, как по его бледному, взволнованному лицу катятся слезы отчаяния.

Это загадочное происшествие отец и дочь тоже решили сохранить в тайне, и Уна о нем не узнала.

Глава шестая

ГОЛОСА

Вдруг Уна неизвестно почему утратила свою обычную живость и побледнела. Она забыла о шутках и проказах и даже петь перестала. В обществе сестры она теперь чаще молчала и полюбила одиночество. Она все повторяла, что ее не мучит недуг, что ее душевный покой не смущает тайная скорбь, однако она ни за что на свете не хотела признаться, почему с ней произошла столь печальная перемена. Она стала капризной, упрямой и раздражительной и, вопреки своему обыкновению, замкнутой и холодной.

Все это необычайно тяготило Алису. В чем причина их отчуждения, неужели она чем-то обидела сестру? Но прежде Уна не помнила зла более часа. Почему же ее словно подменили? Что, если это приближающееся безумие окутало ее своей холодной тенью?

Один или два раза, когда сестра со слезами умоляла Уну открыть причину постигшей ее перемены, та слушала, безмолвно, с глубоким удивлением и даже подозрением глядя на нее, и казалось, вот-вот не выдержит и посвятит ее в тайну. Но потом она медленно опускала печальный остановившийся взор, на лице ее появлялась странная лукавая улыбка, она начинала что-то шептать, и в ее многозначительной улыбке и шепоте Алисе чудилась какая-то зловещая тайна.

Уна и Алиса делили одну спальню в самой высокой башне замка. На стенах этой комнаты, тотчас по приезде, когда бедняжка Уна еще не утратила свою привычную живость и веселый нрав, они повесили старинные гобелены и убрали ее редкой иноземной утварью, проявив тонкий вкус и вволю позабавившись. Однажды ночью, отходя ко сну, Уна произнесла, словно ни к кому не обращаясь:

— Более я не буду спать в этой комнате, рядом с Алисой, — это моя последняя ночь здесь.

— И чем же заслужила бедная Алиса столь странную немилость?

Уна с любопытством и даже не без испуга взглянула на нее, а затем на лице ее, словно лучик лунного света, заиграла загадочная улыбка.

— Ах, Алиса, разве дело в тебе?

— А почему ты больше не хочешь спать со мной в одной комнате?

— Почему? Алиса, душа моя, я не могу ответить, знаю только, что должна спать отдельно от тебя, или меня ждет смерть.

— Смерть, Уна, боже мой! Да как же это?

— Воистину, тогда я умру, Алиса. Все мы рано или поздно умираем или переживаем некую перемену, и я предчувствую, что мой час близок, если только я не стану спать отдельно от тебя.

— Уна, душенька, думаю, ты и вправду больна, но не смертельно.

— Уне известно, о чем ты думаешь, мудрая Алиса, но Уна не безумна, напротив, проницательнее многих.

— И такая грустная и странная...

— Во многом знании многая печали, — ответила Уна и, не откидывая с лица пряди золотистых волос, которые она расчесывала, стала пристально смотреть в окно, где за вершинами высоких деревьев смутно виднелась тихая долина, замершая в лунном свете. — Довольно, Алиса, ничего уже не переменить. Мою постель надобно убрать отсюда, а не то я

скоро засну в холодной могиле. Впрочем, я буду совсем близко, в этой маленькой комнатке.

Уна говорила о маленькой каморке, или чуланчике, смежном с их спальней. Стены замка были невероятно толсты, комнаты разделяли двойные дубовые двери, и Алиса, вздохнув, подумала, что теперь они будут как никогда далеки друг от друга.

Однако она не стала перечить. Постель Уны перенесли в маленькую каморку, и сестры впервые с самого детства стали спать в разных комнатах. Спустя некоторое время Алиса проснулась на исходе ночи, мучимая кошмаром, где главную роль играл зловещий незнакомец, которого они повстречали на прогулке в замке.

Когда она очнулась от сна, в ушах ее все еще звучал голос, тревоживший ее сон, — глубокий, звучный бас, раздававшийся со дна долины под стенами замка, — словно кто-то вяло, равнодушно не то мурлычет себе под нос, не то напевает песню, то умолкая, то затягивая снова, как человек, коротающий время за работой. Алиса мысленно подивилась, откуда бы взяться в этой глуши певцам, как вдруг наступившую тишину — Алиса ушам своим не верила — отчетливо прервало звонкое контральто Уны, совсем рядом, на соседнем окне, пропевшей куплет-другой. Снова воцарилось молчание, а затем снова раздался странный мужской голос, бормочущий песенку где-то далеко в долине, на дне пропасти, скрытой в густой листве.

Не в силах подавить самые мрачные опасения, охваченная ужасом, Алиса осторожно проскользнула к окну. Высоко в небесах луна, немало повидавшая на своем веку и умеющая хранить секреты, улыбалась холодной загадочной улыбкой. Однако Алиса заметила в окне Уны красноватый свет мерцающей свечи и, казалось, различила в оконной нише тень ее головы. Потом все смолкло, свет погас, и ничто более не смущало тишину ночи.

Утром, за завтраком, Алиса и Уна невольно прислушивались к веселому пению птиц в пронизанной солнцем листве.

— Какой чудный щебет, — произнесла Алиса, непривычно бледная и печальная, — он переливается, словно лучи утреннего солнца. Помню, Уна, ты тоже прежде любила петь на рассвете, как эти веселые птицы, но это было до того, как ты стала от меня что-то скрывать.

— А я знаю, что хочет сказать мудрая Алиса, но есть другие птицы, говорят, самые сладкоголосые, те, что безмолвствуют весь день и поют лишь ночью.

Так они отныне и жили бок о бок: старшая — измученная, снедаемая тоской, младшая — молчаливая, не похожая на себя и непредсказуемая.

Вскоре после этого, опять-таки на исходе ночи, Алиса, проснувшись, расслышала обрывки разговора, доносившиеся из комнаты сестры. Говорящие явно не таились. Алиса не могла различить слова, потому что от Уны ее отделяли стены толщиной в шесть футов и две дубовые двери. Но, несомненно, это звонкому голосу Уны вторил глубокий, подобный ударам колокола, бас неизвестного.

Алиса вскочила с постели, второпях натянула платье и кинулась в комнату сестры, однако внутренняя дверь была заперта на засов. Едва она стала стучать, как голоса смолкли и Уна отворила и остановилась на пороге в ночной рубашке, держа в руке свечу.

— Уна, Уна, душа моя, заклинаю тебя, скажи, кто здесь? — едва выдохнула испуганная Алиса, прижав дрожащие руки к груди.

Уна отстранилась, не сводя с Алисы безучастного взора больших голубых глаз.

— Войди, Алиса, — холодно произнесла она.

С трепетом Алиса переступила порог и в страхе огляделась. Спрятаться в каморке и вправду было негде: все ее убранство составляли стул, стол, простая постель без матраца и

два-три крючка для одежды на стенах. Узкое окно с двумя металлическими поперечными перекладинами, ни камина, ни дымохода — почти голая комната.

Алиса ошеломленно осмотрелась и исполненным страдания взором испытующе поглядела в глаза сестры. Уна улыбнулась своей лукавой улыбкой и сказала:

— Что за странные сны! Мне снился сон, и Алисе тоже. Она видит те же сны, что и Уна, слышит в сновидениях те же голоса и дивится, — вот уж, право, поразительные совпадения.

После этого она поцеловала сестру в щеку холодными губами, легла в свою узкую постель, положив тонкую руку под голову, и не произнесла более ни слова.

Алиса, в совершенном смятении, вернулась к себе.

Вскоре возвратился Алтер де Лейси. Странную историю, которую поведала ему дочь, он выслушал с явным беспокойством и растущей тревогой. Однако он приказал ей не говорить об этом никому, кроме него самого и священника, если тот возобновит посещения замка. Вместе с тем де Лейси пообещал, что испытания их скоро завершатся, ибо дела его приняли благоприятный оборот. Его младшую дочь можно было выдать замуж спустя всего несколько месяцев, и в самом скором времени им предстояло перебраться в Париж.

Через день или два по приезде отца, в полночь, Алиса услышала знакомый глубокий и низкий голос, что-то тихо говоривший, казалось, у самого ее окна, а отвечал ему голос Уны, нежный и звонкий. Алиса бросилась к окну, распахнула его, встала на колени в глубокой оконной нише и опасливо покосилась на соседнее окно сестры. Однако, заслышав ее шаги, говорившие умолкли, и Алиса заметила, как от окна уносят свечу. Луна ярко освещала всю башню замка, возвышавшуюся над долиной, и Алиса отчетливо разглядела в лунном свете тень человека, распростертую на стене, как на экране.

В этой черной тени она с ужасом узнала силуэт незнакомца в испанском платье, его берет и плащ, его шпагу, его тонкие длинные руки и ноги, его жуткую угловатость и весь его мрачный облик. Алисе почудилось, будто он повис над бездной, держась руками за подоконник, а ноги прямо у нее на глазах все росли и росли, приближаясь к земле, пока наконец не потерялись во мраке, и тогда зловещий призрак, вспыхнув, точно свеча, пронесся вглубь долины, подобно тени, которая пропадает, стоит лишь резким движением повернуть лампу. Так одним прыжком незнакомец соскочил со стены замка.

— Не знаю, наяву я это вижу и слышу, или меня мучает наваждение, но я попрошу отца стеречь этого призрачного выходца вместе со мной, и уж двоих-то морок никак не обманет. Да хранят нас святые угодники!

В ужасе закрылась она с головой и не менее часа шепотом молилась.

— Я виделся с отцом Деннисом, — сказал де Лейси на следующее утро, — и он пообещал прийти к вам завтра. Хвала Господу, вы сможете исповедоваться, он отслужит для вас обедню, и душа моя наконец успокоится. Ты тотчас почувствуешь, что и Уна обретет свою прежнюю живость и веселость.

Однако задуманное де Лейси не сбылось. Священнику не суждено было исповедать бедную Уну. Пожелав сестре доброй ночи, она долго глядела на нее остановившимся, безучастным, безумным взором, но вот наконец взгляд ее потеплел, словно она вспомнила об их былой привязанности. Глаза ее медленно наполнились слезами, одна за другой падавшими на простое домотканое платье, а она все глядела и глядела на сестру.

Алиса, вне себя от восторга, вскочила и бросилась Уне на шею.

— Ах, душа моя, все позади, ты снова со мной, и мы теперь заживем счастливее, чем прежде.

Однако, сжимая Уну в объятиях, Алиса почувствовала, что та не отрываясь, приоткрыв в задумчивости рот, глядит в окно: мыслями она была уже где-то далеко-далеко.

— Чу! Слушай! Тише! — воскликнула Уна, вперив взор расширенных глаз в пустоту, словно пытаясь пронзить стену замка, деревья, долину и темный полог ночи, приложив ладонь к уху, едва заметно покачивая головой, точно в такт музыке, неслышной Алисе, и улыбаясь странной, торжествующей улыбкой...

Затем улыбка медленно исчезла с ее лица, сменившись выражением хитрости и затаенного лукавства, которое почему-то так пугало ее сестру, и она проникновенно и нежно запела, словно грезила наяву, какую-то завораживающую мелодию, напомнившую Алисе прекрасную и печальную ирландскую балладу «Шул, шул, шул, арун» [35], об ирландском солдате, объявленном вне закона и в полночь призывающем свою возлюбленную, — балладу, которую она слышала в комнате Уны недавно ночью.

Накануне Алиса почти не спала. Сейчас она едва не падала от изнеможения и, оставив свечу у изголовья, тотчас же крепко заснула. Однако вскоре совершенно пробудилась от сна, точно и не смыкала глаз, как частенько случается без всяких причин, и увидела, что в комнату входит Уна. Держа в руках маленький мешочек для рукоделия, который сама расшила цветными нитками, она тихонько проскользнула к постели, улыбаясь своей странной лукавой улыбкой и, очевидно, не подозревая, что сестра ее не спит.

Алису охватил безотчетный ужас, она не могла ни слова вымолвить, ни пошевелиться, а ее сестра в это время тихо запустила руку под подушку и так же тихо убрала ее. Уна некоторое время постояла у камина, потом протянула руку к каминной полке и взяла оттуда маленький кусочек мела, и Алисе почудилось, что этот кусочек мела она вложила в худую, длиннопалую, изжелта-бледную ладонь, осторожно показавшуюся из-за двери. Уна замерла на пороге, с улыбкой обернулась на сестру и тихонько проскользнула к себе, неслышно затворив дверь.

Едва не лишившись чувств от страха, Алиса кинулась следом за нею и, остановившись посреди ее комнаты, воскликнула:

— Уна, Уна, во имя Господа, что с тобою?

Но Уна, казалось, крепко спит... Она испуганно вздрогнула, приподнялась в постели, с

удивлением взглянула на сестру и недовольно проговорила:

— Что ты тут делаешь, Алиса?

— Ты заходила ко мне в комнату, Уна, взволнованная и встревоженная.

— Это все сны, Алиса. Мои сновидения смутили твой сон, только и всего. Ложись в постель и спи.

И Алиса легла в постель, но заснуть не смогла. Не смыкая глаз, пролежала она более часа, как вдруг снова появилась Уна. На сей раз она была одета, в плаще и в крепких башмаках, судя по тому, как стучали по полу ее каблуки. В руке она держала маленький узелок, увязанный в носовом платке, на голову набросила капюшон. Собравшись в дорогу, она встала в изножья постели и долго не сводила с Алисы взгляда столь мрачного и жестокого, что та едва не лишилась чувств. Потом она повернулась и ушла в свою каморку.

Если она и возвращалась, Алиса ее не видела. Однако она не могла забыться сном, не в силах подавить волнение и тревогу, и вскрикнула от ужаса, когда примерно час спустя раздался стук в ее дверь — не в ту, что вела в крохотную комнатку Уны, а в дверь, выходящую в коридор, который сообщался с крутой каменной лестницей. Алиса вскочила с постели, но, к своему облегчению, поняла, что дверь ее заперта. Тут из коридора снова постучали, и до нее донесся негромкий смех.

Наконец страшная ночь кончилась и наступило утро. Но куда пропала Уна?

Алисе более не суждено было ее увидеть. В изголовье ее постели она обнаружила написанные мелом слова: «Алтер де Лейси — Алтер О'Доннел», а под своей подушкой нашла прощальный подарок — маленький мешочек для рукоделия, который видела ночью в руках у Уны. На нем было вышито: «От Уны, с любовью».

Ужас и ярость де Лейси не знали пределов. В исступлении он обвинял священника в том, что тот, потакая своим глупым страхам и пренебрегая своими обязанностями, предал его дитя дьявольским козням, и неистовствовал, и богохульствовал как безумный.

Поговаривают, будто он приказал отслужить торжественный обряд изгнания нечистой силы, надеясь тем избавиться от чар и вернуть дочь. Несколько раз, как уверяет предание, ее видели старые слуги. Однажды, теплым летним утром, ее заметили в окне башни — она расчесывала свои прекрасные золотистые кудри, держа в руке маленькое зеркальце. Поняв, что за нею наблюдают, она поначалу словно испугалась, а потом на лице ее появилась странная, лукавая улыбка. Иногда, лунными ночами, запоздавшие путники встречали ее в долине, и она неизменно приходила в смятение, но потом, точно успокоившись, принималась напевать отрывки старинных ирландских баллад, из тех, что повествуют о печальной девичьей судьбе, схожей с ее собственной. Призрак ее давным-давно перестал смущать покой живых. Однако утверждают, будто по временам, раз в два-три года, на исходе летней ночи в укромных уголках долины можно слышать доносящийся точно издалека, едва различимый, нежный голос Уны, которая поет эти грустные мелодии. Рано или поздно, конечно, и эти призрачные песни смолкнут, и о судьбе ее забудут навсегда.

Когда Алтер де Лейси умер, его дочь Алиса нашла среди принадлежавших ему реликвий маленькую шкатулку, в которой хранился какой-то портрет. Едва взглянув на него, она в ужасе отпрянула. Ибо на портрете со всеми зловещими подробностями был точно изображен призрак, запомнившийся ей столь живо, словно она видела его только вчера. В той же шкатулке лежал свернутый лист бумаги, на котором была написана следующая повесть: «В лето Господне 1601, в декабре, Уолтер де Лейси, владетель Кэпперкаллена, пленил на переправе возле прихода Оуни, называемого также Эйбингтон, множество ирландских и испанских солдат, бежавших после разгрома с поля боя в Кинсейле[36]. В их числе захватили и некоего Родерика О’Доннела, коварного предателя и близкого родственника тому О’Доннелу, что был вожаком мятежников. Сей Родерик О’Доннел, уверяя, будто состоит с де Лейси в родстве по материнской линии, умолял сохранить ему жизнь и предлагал богатый выкуп, однако де Лейси, стремясь, как многие полагали, заслужить милость ее величества королевы, незамедлительно предал его смерти. Входя на башню замка, где предстояло ему быть повешенным, пребывая в отчаянии и не уповая более на милосердие, О’Доннел поклялся, что хотя и не в силах причинить де Лейси никакого вреда в этой жизни, будет творить им всяческое зло после смерти, пока не искоренит весь их род. С тех пор часто видели его призрак, который неизменно нес де Лейси пагубу, и посему детям семейства де Лейси старшие представители рода взяли за правило показывать миниатюрный портрет О’Доннела, обнаруженный среди его имущества, дабы сей ужасный выходец с того света не застал их врасплох, не уничтожил дьявольскими кознями и ухищрениями и не оставил семейство де Лейси без наследников благородной крови и славного имени».

Старая мисс Крокер из имения Росс-Хаус, которой в 1821 году, когда она поведала мне эту историю, было около семидесяти лет, виделась и беседовала с Алисой де Лейси, принявшей монашеский обет под именем сестры Агнессы в монастыре на Кинг-стрит в Дублине, который основала знаменитая герцогиня Тирконнелская[37]. Рассказ сестры Агнессы она передала слово в слово, ничего не меняя. Я счел его достойным внимания и не могу более ничего к нему добавить.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

ИСТОРИИ ОЗЕРА ЛОХ-ГУР

Когда пишущему эти строки было лет двенадцать-тринадцать, он познакомился с мисс Энн Бейли из поместья Лох-Гур, что в графстве Лимерик. Она и ее сестра были последними представительницами древнего славного рода, издавна жившего в тех краях, и, кроме них, никого из Бейли в имении Лох-Гур не осталось. Обе они были старые девы, к моменту моего знакомства с ними перешагнувшие рубеж шестидесятилетия. Однако мне никогда не встречались пожилые леди, которые были бы столь гостеприимны, веселы и добры, особенно к девицам и юнцам. Обе они отличались любезностью и живостью ума. Как и все лимерикские помещицы тех времен, они прекрасно знали родословные своих соседей и могли тотчас без запинки назвать происхождение, потомков и брачные узы любого местного дворянина.

К этим леди в имение Лох-Гур приезжал мистер Томас Крофтон Крокер [\[38\]](#), упоминающий их имя во втором томе своего сборника легенд, где он излагает (возможно, поведанные ему мисс Энн Бейли) красочные предания, родившиеся в краю чудесных озер, которые дали название поместью. Впрочем, сейчас мне следовало бы говорить об одном озере, поскольку меньшее по размеру и более живописное из них с тех пор успели осушить, обнажив на дне его руины древних, весьма любопытных сооружений.

В гостиной у старых леди тоже хранился весьма любопытный и древний предмет, хотя и относящийся к более поздней эпохе. Это был старинный прощальный кубок, преподносившийся на дорогу всаднику гостеприимными обитателями поместья Лох-Гур. Крофтон Крокер зарисовал этот странный стеклянный бокал. Я частенько его рассматривал. Утвержденный на короткой ножке, сам кубок со скругленным доньшком имел цилиндрическую форму, вмещал ни много ни мало целую бутылку кларета и, хотя был не шире старомодного узкого пивного стакана, высотой превосходил все бокалы и кубки, когда-либо мною виденные. Поскольку всаднику, подносящему к губам прощальный кубок, приходилось вытягивать руку, для подвыпившего человека, вынужденного держаться в седле, это, видимо, оказывалось немалым испытанием. Удивительно, что этот чудный кубок дожил до наших дней без единой трещины.

В той же гостиной стоял и другой кубок, о котором следует упомянуть. Был он огромного размера и имел форму конуса, наподобие банки с конфитюром в старинных кондитерских. Его в виде бордюра обрамляла выгравированная надпись: «Светлой памяти нашего заступника», а в торжественных случаях этот кубок, налитый до краев, передавали из рук в руки, на манер круговой чаши, гости из числа вигов, всем обязанные тому, чью память увековечивали эти слова [\[39\]](#).

Однако теперь этот кубок был лишь призрачным напоминанием о шумных пиршествах ушедших поколений, привыкших к пушечным выстрелам и буйству брани. Когда я впервые его увидел, он уже давным-давно позабыл о жарких политических спорах и празднествах и нашел мирное пристанище на маленьком столике в гостиной, и старые леди ежедневно меняли в нем воду и наполняли свежими садовыми цветами.

Мисс Энн Бейли чаще, чем ее сестра, повествовала о легендарных, сверхъестественных событиях, и рассказывала свои истории увлеченно, с неизменным сочувствием к их героям и с таинственным видом, который всегда производит столь глубокое впечатление. Она не

устаивала отвечать на многочисленные вопросы о старом замке и забавляла своих юных слушателей картинками былых приключений и далеких дней. Память моя сохранила вживе облик моей старинной приятельницы: прямая и стройная, выше среднего роста, весьма напоминая портрет восхитительной графини Д'Онуа[40], перу которой обязаны мы первым пробуждением интереса ко всему чудесному и загадочному, мисс Энн Бейли походила на нее и серьезным и вместе с тем добродушным выражением лица, и не совсем правильными, но утонченными и женственными чертами. Однако особенно разительно становилось ее сходство с французской писательницей, когда она, воздев указательный палец, с лукавой и таинственной улыбкой замолкала, перед тем как приступить к кульминационному пункту своего драматического повествования.

Земли, расположенные по берегам озера Лох-Гур, считаются исконной вотчиной манстерских фэйри. Когда «добрый народ» похищает ребенка, именно Лох-Гур в представлении местных жителей является тем местом, где он навсегда покидает земной мир и где им окончательно завладевают обитатели призрачного царства. А на дне озера лежит заколдованный замок Десмондов, пышный и величественный, в котором заточен сам знаменитый граф, его прекрасная юная супруга и вся свита, окружавшая его во дни величия и славы и разделившая с ним его печальную участь.

С поместьем Лох-Гур связаны и знаменательные исторические события. Огромная, квадратного сечения башня, возвышающаяся над конным двором у стен старого дома на высоту, поражающую мое юное воображение, хотя и лишилась давным-давно парапетной стенки с зубцами и одного этажа, до сих пор не утратила облика неприступной твердыни времен последнего мятежного графа Десмонда. Именно на стенах этой башни, как описывается в чудесном старинном фолианте «Hibernia Pacata», ирландский гарнизон выдержал атаку армии лорда-наместника, проходившей маршем по близлежащим холмам[41]. Дом же семейства Бейли, построенный под защитой крепости надменных повстанцев Десмондов, старомодный, но уютный, со множеством маленьких комнаток и с низкими потолками, напоминал помещичьи дома в Шропшире и прилегающих английских графствах.

Обступившие озера холмы, насколько я помню (а я не видел их с тех давних дней), поросли низеньким мягким кустарником, таким зеленым и свежим, подобного которому я никогда более не встречал.

Над одним из озер возвышается маленький островок, скалистый и покрытый лесом, который, как полагают местные крестьяне, есть не что иное, как навершие самой высокой башни в заколдованном замке графа Десмонда, погребенном на дне. Да и по уверениям людей образованных, если на лодке подплыть к островку в особо ясную погоду, складывается впечатление, будто он на несколько футов приподнимается над волнами, а утесы кажутся рукотворными каменными стенами с полуразрушенными зубцами, вздымающимися над поверхностью воды.

Вот какую историю поведала мисс Энн Бейли о затонувшем замке.

Всем известно, что славный граф Десмонд и по сей день заточен вместе со всеми своими домочадцами в заколдованном замке на дне озера, хотя история совершенно иначе изображает его гибель.

Во всем мире не было в те времена волшебника могущественнее. Самый величественный его замок стоял на маленьком островке посреди озера, и сюда он привез свою юную прекрасную невесту, любовь к которой его и погубила, ибо он всем пожертвовал ради удовлетворения ее безумного каприза.

Вскоре после переезда в родовой замок молодая графиня незваной вошла в покой, где ее супруг изучал чернокнижие, и умоляла его показать чудеса черной магии. Он долго противился ее желанию, однако в конце концов снизошел к ее мольбам, слезам и лести.

Но прежде чем удивить ее поразительным колдовством, он объяснил ей, на сколь ужасных условиях согласен показать ей свое умение принимать любое обличье.

В полном одиночестве в огромном зале, о стены которого внизу бились темные волны озера, готовые поглотить замок в любую минуту, ей предстояло узреть ряд страшных превращений — и, раз начав, нельзя было их прервать или умерить. Кроме того, граф подчеркнул, что если, наблюдая эти отвратительные метаморфозы, она произнесет хоть слово или в страхе воскликнет, то замок и все его обитатели немедля погрузятся в пучину озерных волн, где и останутся, во власти необоримых чар, до конца времен.

Однако высокородная леди оказалась неустрашима в своем любопытстве, и, затворив и закрыв на засов двери, граф Десмонд приступил к роковым превращениям.

Стоило ему прошептать заклинание, как он у нее на глазах покрылся густыми перьями, щеки его запали, нос искривился, точно клюв хищной птицы, зал наполнило невыносимое зловоние, и, тяжело взмахивая крыльями, в воздух поднялся огромный стервятник... Он кружил и кружил по комнате, словно собираясь кинуться на графиню...

Однако она совладала со своим страхом, и для нее тотчас началось другое испытание.

Хищная птица опустилась на пол, и не прошло и мгновения, как она обратилась в крошечную, невероятно уродливую старуху с пожелтевшей, морщинистой, обвисшей кожей и вылезавшими из орбит глазами, которая, опираясь на костыли, стала подбираться к графине. Казалось, ее охватила ярость, на губах у нее выступила пена, лицо исказила страшная гримаса, еще более ее обезобразившая, и тут наконец в судорогах, издав ужасный вопль, она упала на пол и покатилась к ногам графини, где превратилась в чудовищного змея с раздутым капюшоном и раздвоенным языком, подрагивающим в разверстой пасти. Змей алчно приближался к графине, и казалось, он вот-вот бросится на нее, как вдруг принял облик ее супруга, трепещущего и бледного, поднявшего палец к губам, словно моля о молчании. Затем он улегся на пол и стал непостижимым образом расти и расти, пока не уперся головой в одну стену зала, а ногами в противоположную.

И тут ужас затмил разум графини. Вне себя от страха, несчастная громко вскрикнула, и в тот же миг замок и все его обитатели погрузились в воды озера.

Однако раз в семь лет, ночью, граф Десмонд и его свита появляются над волнами и, проскакав по глади озера призрачной кавалькадой, вторгаются в мир живых. В эту ночь граф может оставаться на земле до рассвета и должен как следует использовать дарованное ему время, ибо, пока серебряные подковы его скакуна не износятся, чары, удерживающие его и

его домочадцев на дне озера, сохраняют свою власть.

Маленькой девочкой, продолжала мисс Энн Бейли, я слышала удивительную историю, которую рассказывал Тиг О'Нил.

Ремеслом был он кузнец, и кузница его стояла на вершине холма, возвышавшегося над озером, возле полузаброшенной дороги на Кэр-Конлиш. Однажды, лунной ночью, он работал у себя в кузнице в полном одиночестве. Лишь стук молота да дрожащий красноватый отблеск горна, падающий сквозь открытую дверь на кусты по ту сторону узкой дороги, напоминали о том, что на много миль вокруг нет ни души.

Оторвавшись ненадолго от молота и наковальни, Тиг О'Нил услышал топот копыт на крутой тропе, ведущей к его кузнице, и, выйдя на порог, увидел всадника на белом коне, одетого в весьма странное платье, подобного которому кузнецу видеть не приходилось. Всадника сопровождала конная свита в столь же необычных нарядах.

Судя по звону уздечек и шумному топоту, возвестившему ее появление, кавалькада вознеслась на холм беспорядочным галопом, но, приблизившись к дверям кузницы, умерила шаг, а ее предводитель, человек знатный, как решил О'Нил, ибо был он мрачен, надменен и явно привык повелевать, натянул поводья и осадил коня у самых дверей кузницы.

Он не произнес ни слова, его спутники тоже хранили молчание, однако он жестом подозвал кузнеца и указал ему на одну подкову.

Тиг наклонился, приподнял ногу лошади и успел заметить, что серебряная подкова на ней в одном месте износилась и кажется не толще шиллинга. Увидев серебряную подкову, он тотчас понял, кто перед ним, и отпрянул, в ужасе призывая Господа. Лицо гордого всадника внезапно исказилось от досады и ярости, и он обрушил на кузнеца что-то наподобие хлыста, со свистом рассекающее воздух, пронзившее его тело, точно стальной клинок, и холодное как лед. Впрочем, впоследствии оказалось, что удар призрачным хлыстом не причинил кузнецу вреда и не оставил даже шрама. В то же мгновение вся кавалькада галопом поскакала прочь, вниз по холму, и быстро исчезла из глаз с грохотом, напоминавшим пушечный залп.

В кузнице побывал сам граф Десмонд. Он прибегнул к своей обычной хитрости, надеясь, что кузнец с ним заговорит. Ведь хорошо известно, что, стремясь либо сократить срок своего заточения в заколдованном замке на дне озера, либо как-то скрасить свое одиночество, он пытается обманом завлечь живых в свои сети. Однако какая судьба ожидает того, кто утратит осторожность и сам к нему обратится, никому не известно.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ МОЛЛ РИАЛ

Маленькой девочкой мисс Энн Бейли знавала Молл Риал, в ту пору уже глубокую старуху. Весь свой век Молл Риал прожила в семействе Бейли в поместье Лох-Гур. Тогда в Ирландии всевозможную работу по дому выполняли множество босоногих крестьянских девиц — посудомойки, прачки, птичницы и девочки на побегушках.

Среди них была и Молл Риал, молодая и крепкая, веселая и услужливая, не знавшая горя и ни о чем особо не тужившая. Однажды она стирала белье, колотя его вальком, как это обыкновенно делают в Манстере. Прачка заходит по щиколотку в озеро, опускает в воду белье и расправляет его на большом плоском камне, а потом с силой колотит по нему орудием, отчасти напоминающим крикетную битую, только короче и шире, и достаточно легким, чтобы без труда управляться с ним одной рукой. Так она подолгу валяет мокрое белье на плоском камне, окуная его в воду, по нескольку раз выворачивая и повторяя всю процедуру, пока не выстирает хорошенько.

Молл Риал орудовала вальком на мелководье, под стенами старого господского дома и замка. Случилось это погожим утром, в девятом часу, когда ярко светило солнце. Поблизости не было ни души, однако, хотя Молл Риал не могла разглядеть даже окон дома, скрытых за холмом и густым кустарником, одиночество ее нисколько не тяготило.

Подняв голову, она внезапно заметила джентльмена, который медленно шел к ней по склону холма. Молл Риал тотчас решила, что господин этот именитый и важный: он щеголял в шелковом халате с цветочным узором, голову его прикрывала маленькая бархатная шапочка, на ногах были изящные туфли, и Молл Риал смогла заметить, что он строен и хорошо сложен. Подойдя поближе, он милостиво улыбнулся, снял с пальца перстень, всем своим благосклонным видом показывая, что желает сделать ей подарок, а потом положил его на камень рядом с бельем, которое она так усердно колотила.

Он чуть отошел, однако по-прежнему молча глядел на нее с довольной улыбкой, словно ободряя и говоря: «Ты заслужила награду. Не бойся, возьми ее».

Молл Риал подумала, что это знатный гость, который неожиданно приехал накануне ночью, как часто случалось в те славившиеся радушием бурные времена, и что он решил до завтрака не спеша прогуляться по окрестностям.

Молл Риал от природы была довольно застенчива, а тут еще такой блестящий джентльмен застал ее с подоткнутыми юбками и голыми икрами. Поэтому она невольно бросила взгляд на свои ноги и тут заметила на воде капли крови — одну, другую, третью, и вот уже по волнам, то приближаясь к ней, то снова отдаляясь, расходятся кровавые пятна. В ужасе она призвала Господа, и незнакомец тотчас же исчез прямо у нее на глазах, будто его и не бывало, однако все озеро на мгновение окрасилось кровью, заалев, точно огромная рана.

Это граф Десмонд снова завлекал живые души, и Молл Риал объявила, что, если бы воды озера не обратились в кровь, она бы первой заговорила с ним и обрекла бы себя на участь, возможно не менее страшную и зловещую, чем его собственная.

Столь древнее манстерское семейство, как Бейли из Лох-Гур, разумеется, не могло обойтись без собственной банши, из поколения в поколения предвещавшей смерть представителям этого рода. Все члены семейства знали о ее существовании и могли привести немало примеров подобного внимания со стороны потустороннего мира. Мисс Бейли поведала мне о единственном случае, когда ей самой довелось стать свидетельницей сочувствия умирающему призрачной банши.

Мисс Бейли рассказала, что в юности она и ее сестра мисс Сьюзен долго ухаживали за другой сестрой, тяжелобольной мисс Китти, о которой она говорила как о самой добродушной и беззаботной барышне, какую только можно вообразить. Эта барышня, отличавшаяся легким и веселым нравом, угасала от чахотки. Печальную обязанность заботиться о безнадежно больной поделили между собою ее многочисленные сестры, а мисс Энн и мисс Сьюзен, как старшим, выпало бодрствовать у постели мисс Китти в ночные часы.

Возможно, эти долгие и скорбные бдения настолько подавили их дух и расшатали нервы, что они оказались подвержены галлюцинациям. Как бы то ни было, однажды, в глухую полночь, сидя в комнате умирающей, мисс Бейли и ее сестра слышали столь сладостную и печальную музыку, какой им не приходилось слышать никогда прежде. Им почудилось, будто в далеком соборе заиграл орган. Окна в комнате выходили во двор, старый замок возвышался совсем рядом и был ясно различим в лунном свете. Музыка раздавалась не в доме, а казалось, звучала во дворе или даже в стенах замка. Мисс Энн Бейли взяла свечу и спустилась по черной лестнице во двор, где снова услышала ту же далекую и торжественную мелодию, но так и не смогла понять, что это — музыка или пение таинственного хора. Казалось, мелодия льется из высоких окон замка. Но стоило приблизиться к башне, как музыка зазвучала откуда-то сверху, словно бы со стороны дома. В конце концов, удивленная и испуганная, мисс Энн вернулась к сестрам.

Обе они, мисс Энн и мисс Сьюзен Бейли, клялись, что довольно долго слышали эту таинственную небесную музыку совершенно отчетливо. Мисс Энн Бейли ни минуты не допускала мысли, что это был обман чувств, и рассказывала о странном явлении с немалым трепетом.

СОН ГУВЕРНАНТКИ

Однажды утром гувернантка с торжественным видом, свидетельствующим, что она намерена сообщить что-то важное, рассказала своим воспитанницам любопытный сон, виденный ею накануне.

Первый зал, в который вы попадаете, войдя в замок и оказавшись у основания винтовой каменной лестницы, — большой, мрачный, с высокими сводами и несколькими узенькими окнами, прорезанными в глубоких нишах под самым потолком. Когда я много лет спустя впервые побывал там, часть этого просторного зала использовалась для хранения годового запаса торфа.

Едва гувернантка во сне, совсем одна, вступила в этот зал, как перед нею явился мрачный и величественный человек с неповторимыми и запоминающимися чертами, раз увидев которые невозможно было забыть, подобно лицам на старинных портретах.

В руке он держал жезл, не более обычной трости. Он велел гувернантке запомнить его длину и те замеры, которые ему предстояло сделать, а потом сообщить их результаты хозяйке поместья Лох-Гур миссис Бейли.

Считая от определенного места, он отмерил на полу своим жезлом, держа его перпендикулярно стене, какое-то расстояние, назвав его вслух. Затем он таким же образом отсчитал какое-то расстояние от соседней стены, тоже назвав его вслух. Потом он объявил, что в точке пересечения этих линий, на глубине нескольких футов под полом, которую он тоже назвал гувернантке, спрятаны сокровища. Тут сновидение рассеялось, и таинственный пришелец исчез.

Вместе со своими ученицами она отправилась в старый замок, измерила там показанные ей расстояния прутиком, вырезанным по длине жезла, и, как она полагала, определила место, где схоронен клад. В тот же день она поведала свой сон мистеру Бейли, однако тот отмахнулся от него как от пустой безделицы и не предпринял никаких шагов.

Вскоре после этого она вновь увидела во сне того мрачного и величественного человека, и он повторил свое повеление с явным неудовольствием. Но мистер Бейли опять только посмеялся.

Сон повторился, и тогда дети так настойчиво потребовали обследовать пол замка с киркой и лопатой в том месте, где указал таинственный посланец, что мистер Бейли наконец сдался. Вскрыли каменный пол и выбрали землю на глубине нескольких футов — там, где, по словам гувернантки, были зарыты сокровища.

Как сказала мисс Бейли, при этих земляных работах присутствовало все семейство, включая отца. Пока землекопы рыли яму на нужную глубину, нетерпение и азарт собравшихся росли, а когда стальные кирки с гулким звуком ударились о каменные плиты и стало понятно, что под ними пустота, всеобщее возбуждение достигло предела.

С большим трудом эти плиты подняли, обнажив отделанную камнем полость, достаточно большую, чтобы в ней мог поместиться глиняный кувшин или горшок. Увы! Она была пуста. Однако в толще земли на дне ее мисс Бейли и все собравшиеся ясно различили круглый отпечаток какого-то сосуда, который, судя по глубине оставленного следа, простоял там долгие годы.

Обе мисс Бейли впоследствии уверились, что сокровищами, действительно сокрытыми под полом зала, завладел некто, более склонный доверять загадочному посланцу и более

предприимчивый, нежели их отец.

Гувернантка прожила в семействе Бейли до самой смерти, случившейся несколько лет спустя при обстоятельствах столь же необычайных, сколь и ее сновидение.

Добрая гувернантка особенно любила старый замок и, закончив занятия, часто приходила с книгой или с вышиванием в большую комнату замка, известную как Графский зал. Она велела слугам принести сюда стол и стул и в сумерках сидела за чтением или рукоделием до тех пор, пока не померкнет последний слабый луч света, проникавший сквозь незастекленное окно под потолком.

Попасть в Графский зал можно через узкую, наподобие арки дверцу, к которой вела винтовая лестница. Это было большое и мрачное помещение, почти квадратное, с высоким сводчатым потолком, выложенным каменными плитами полом. Оно располагается на верхнем этаже замка, окружено невероятно толстыми стенами, имеет всего несколько маленьких окон, и потому в нем всегда царит тишина, точно в подземной пещере. В этом зале можно за целый день не услышать никаких звуков, кроме, может быть, щебета ласточек, свивших гнездо на высоком и узком, словно бойница, окне.

Однажды гувернантка, как всегда, удалилась в свой любимый уединенный покой и не вернулась в обычное время. В поместье не встревожились и поначалу ее не хватились, поскольку в Ирландии того времени распорядок дня строго не соблюдали. Однако когда она не появилась и к обеду, подаваемому, как обыкновенно в помещичьих домах, в пять часов, за ней послали ее юных воспитанниц. Погода стояла теплая, солнце еще не зашло и достаточно освещало полутемные лестницы и коридоры замка, и потому ученицы с радостными криками взбежали по каменным ступеням и кинулись в Графский зал навстречу своей наставнице.

Однако на их призывы никто не откликнулся. Подбежав к двери, ведущей в зал, они с ужасом увидели, что она лежит на полу в глубоком обмороке. С трудом ее привели в чувство, но она была столь слаба, что ее отвели в дом и немедленно уложили в постель.

Тогда-то она и поведала удивительную историю, которая с ней произошла. Она по привычке села за маленький рабочий столик, безмятежно читала или рукодельничала — я запомнила, чем именно она занималась, — пребывая в здравии и совершенно покойном расположении духа. Внезапно, подняв глаза, она увидела, как в зал входит отвратительный крошечный старик. Он был в красном платье, необычайно мал ростом, смугл и морщинист, а выражение лица имел чудовищно злобное. Сделав несколько шагов и не сводя с нее глаз, он остановился и жестом приказал ей следовать за ним, а потом снова двинулся к двери. Не пройдя и половины пути, он опять остановился и опять поманил ее. Появление призрака вселило в нее такой ужас, что она словно окаменела, не в силах шевельнуться или произнести хоть слово. Когда он заметил, что она не послушалась, лицо его приняло еще более жестокое и угрожающее выражение, в ту же минуту он воздел руку и топнул по полу. Жесты его, движения и самый вид — все изобличало дьявольскую ярость. Совершенно утратив от ужаса способность сопротивляться, она безвольно последовала за ним, сделав шаг или два по направлению к двери. Он снова остановился и снова молча, угрожающими жестами потребовал пойти за ним.

Вслед за ним она вышла за узкую каменную дверь Графского зала. Она замерла на пороге и увидела, что он стоит в отдалении, по-прежнему не сводя с нее глаз. Он опять поманил ее и двинулся по короткому коридору, ведущему к винтовой лестнице. Однако у нее уже не осталось сил за ним последовать: на пороге Графского зала она без чувств опустилась

на пол.

Бедняжка была твердо убеждена в том, что ужасное видение предрекает ее скорую кончину, и опасения ее оправдались. Она более не вставала с постели. За пережитым ею потрясением последовала нервическая горячка, и всего через несколько дней она умерла. Разумеется, нельзя отрицать, что подступающая болезнь могла повредить ее рассудок и вызвать демона, существующего лишь в ее воспаленном воображении.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

СТРАННОЕ СОБЫТИЕ ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА СХАЛКЕНА

Вас, несомненно, удивит, друг мой, тема этой повести. Какое мне дело до Схалкена[42] или Схалкену до меня? Он вернулся к себе на родину и, вероятно, умер и был похоронен еще до моего рождения, а я никогда не бывал в Голландии и ни разу не разговаривал ни с одним его соотечественником. Все это, я полагаю, вы уже знаете. Что ж, мне остается лишь сослаться на источник и честно пояснить, почему я верю в правдивость странной истории, которую собираюсь поведать.

В юности я был знаком с неким капитаном Вэнделом, отец которого служил королю Вильгельму в Нидерландах, а потом и в моей собственной несчастной стране во время Ирландских кампаний[43]. Сам не знаю, отчего мне полюбилось его общество, и, хотя я не разделял его религиозных и политических убеждений, между нами установились приятельские отношения. Сблизившись совершенно по-приятельски, мы стали вести самые непринужденные дружеские беседы, в одну из которых капитан и поведал мне любопытную повесть, что вы сейчас услышите.

Всякий раз, навещая Вэндела, я неизменно испытывал удивление, останавливаясь перед необычной картиной, в которой я, хотя и не считал себя знатоком живописи, явственно различал неповторимые черты авторской работы, особенно в передаче световых эффектов, да и в самом замысле, возбуждавшем мое любопытство. На картине было представлено внутреннее убранство какого-то старинного храма, а на переднем плане живописец изобразил женщину, окутанную длинным белым одеянием, край которого она набросила на голову, точно вуаль. Впрочем, ее одеяние не соответствовало ни одному монашескому ордену. В руке женщина держала лампу, свет которой озарял лишь ее лицо и фигуру. Черты ее оживляла лукавая улыбка, столь украшающая пригожих молодых женщин, задумавших удачную шалость или проказу. На заднем плане, почти совершенно скрытая в тени и едва освещаемая тусклым, затухающим огнем, виднелась фигура мужчины в старинном платье, в камзоле, явно чем-то встревоженного и положившего руку на эфес шпаги, словно вот-вот вытащит ее из ножен.

— Есть картины, — сказал я другу, — глядя на которые почему-то убеждаешься в том, что на них запечатлены не образы, порожденные воображением живописца, а подлинные сцены, реальные лица и события. Например, я совершенно уверен, что на этой картине представлена сцена из жизни.

Вэндел улыбнулся и, не сводя с картины задумчивого взгляда, ответил:

— Ваша догадка верна, мой добрый друг, ведь эта картина — свидетельство необычайных и таинственных событий, и, полагаю, свидетельство верное. Ее написал Схалкен, а женщина на переднем плане — не кто иной, как Роза Велдеркауст, племянница Герарда Доу[44], первая, и, вероятно, единственная любовь Готфрида Схалкена: портретное сходство не оставляет сомнений. Мой отец лично знал художника, и тот поведал ему таинственную драму, одна из сцен которой запечатлена на этой картине. Полотно это, считающееся прекрасным образцом авторского стиля Схалкена, завещал моему отцу сам живописец, и, как вы видите, оно представляет собою своеобразное и любопытное

произведение искусства.

Стоило мне попросить Вэндела, как он тотчас удовлетворил мою просьбу и рассказал эту историю. Таким образом, я могу изложить вам всю повесть целиком, ничего не упустив и предоставив вам решать, считать ли это предание рассказом об истинных событиях. Могу лишь прибавить, что Схалкен был честным, простоватым голландцем, совершенно не склонным к измышлениям и пустым выдумкам, и, кроме того, Вэндел, поведавший мне эту повесть, был совершенно убежден в ее правдивости.

Не много найдется тех, кому плащ романтического любовника и флер таинственности пристали бы менее, чем голландскому увальню Схалкену, неуклюжему и грубому, угрюмому и неотесанному. Впрочем, он был чрезвычайно одаренным живописцем, полотнами которого нынешние знатоки восхищаются не менее бурно, чем возмущались утонченные ценители — его современники. Однако этого человека, столь ленивого, вялого и сонного, отталкивающего грубостью манер и всего облика в зрелые годы, когда он был взыскан фортуной, в юности не обошла своим вниманием капризная богиня, избравшая его героем истории романтической, таинственной и необычайной.

Кто знает, подходила ли ему в юности роль любовника и героя? Кто знает, был ли он в молодые годы тем резким, неотесанным, неповоротливым мужланом, каким стал впоследствии? И не явилась ли ничем не искоренимая грубость его лица, платья и манер порождением того безграничного безразличия ко всему, которое зачастую охватывает человека, пережившего в юности несчастья и разочарования?

Нам не узнать ответов...

Посему надлежит ограничиться простым изложением фактов, а об остальном пусть гадают любители досужих домыслов.

В молодые годы Схалкен учился в мастерской Герарда Доу. Несмотря на присущие ему, как, вероятно, и большинству его соотечественников, флегматичный нрав и вместе с тем раздражительность, в юности он обладал способностью чувствовать глубоко и живо, ведь всем известно, что молодой художник заглядывался на прелестную племянницу своего богатого учителя.

Розе Велдеркауст в ту пору не исполнилось и семнадцати лет, и, если предание не лжет, она была истинной фламандской красавицей — пухленькой, белокурой и розовощекой. Вскоре после того, как Схалкен начал обучение у живописца Доу, его увлечение Розой переросло в страсть куда более сильную и пылкую, чем можно было ожидать от спокойного и невозмутимого голландца. Вместе с тем он решил, или ему только почудилось, что Роза стала оказывать ему знаки расположения, и потому, отринув все сомнения, которые, возможно, терзали его прежде, он всецело отдался своему чувству. Коротко говоря, он влюбился настолько, насколько вообще способен влюбиться голландец. Спустя недолгое время он признался красавице в нежной страсти, и она в свою очередь не утаила от него, что и он ей небезразличен.

Однако Схалкен был беден, не мог похвастаться ни высоким происхождением, ни положением в обществе, а старик едва ли согласился бы отдать свою племянницу и воспитанницу за безродного художника, с которым ей предстояло изведать одни невзгоды и лишения. Посему оставалось лишь ждать, что время вознаградит его усилия и что фортуна ему улыбнется, и тогда, если работы его станут приносить доход, ее несговорчивый опекун, возможно, хотя бы выслушает его предложение. Проходили месяцы, и Схалкен, ободряемый улыбкой малютки Розы, удвоил усилия, столь усовершенствовал свой талант и добился столь

значительных успехов, что мог осуществить свои надежды и по прошествии нескольких лет обещал стать незаурядным художником.

Однако это ровное и благополучное течение жизни, к несчастью, было внезапно и зловеще прервано событиями такими странными и таинственными, что никто не в силах был объяснить их и расследовать, событиями, невольно внушавшими суеверный страх.

Однажды вечером Схалкен задержался в мастерской учителя намного дольше, чем его легкомысленные товарищи, которые под предлогом наступления сумерек с радостью побросали мольберты и кисти, чтобы закончить день веселой пирушкой в ближайшем кабаке.

Но Схалкен стремился к совершенству, его вдохновляла любовь. К тому же сейчас он как раз делал эскиз будущей композиции, а для этой работы, в отличие от живописи, достаточно самого слабого света, позволяющего различить штрихи угля на холсте. В ту пору он еще сам не сознавал, на что способен его карандаш, и не скоро это открыл. Он увлеченно набрасывал на холсте сонм чрезвычайно проказливых бесов и демонов самого причудливого вида, подвергавших замысловатым пыткам вспотевшего, толстобрюхого и казавшегося совершенно пьяным святого Антония, который растянулся на земле посреди суетящихся тварей.

Однако молодой художник, не способный создать, да и просто оценить, истинно утонченное произведение искусства, был тем не менее достаточно проницателен и не мог удовлетвориться результатами своей работы. Он снова и снова терпеливо стирал и перерисовывал лицо и фигуру святого, но отвергал и новые варианты, находя их слабыми и неудачными.

В большой мастерской, убранной в старинном вкусе и покинутой ее обычными обитателями, царил тишина, Схалкен работал в полном одиночестве. Прошел час, другой, а он был по-прежнему недоволен эскизом. Дневной свет давно сменили сумерки, в свою очередь сменившиеся тьмой. Терпение молодого художника истощилось, и, стоя у незавершенной картины, он предавался неутешительным размышлениям, запуская одну руку в длинные черные космы, а другую, которой до того сжимал уголь, столь скверно справившийся со своей задачей, машинально вытирал о широкие фламандские штаны, оставляя на них черные полосы.

— Тьфу! — воскликнул он наконец. — Да пошла эта картина вместе с демонами, святым и со всем прочим к дьяволу!

В ответ над самым его ухом, немало его напугав, тотчас раздался отрывистый смех.

Художник резко обернулся и только тут осознал, что все это время за его работой наблюдал незнакомец.

На расстоянии вытянутой руки у него за спиной словно бы притаился то ли и вправду пожилой человек, то ли кто-то, пожилым человеком ему показавшийся. Был он в коротком плаще, широкополой островерхой шляпе, в руке, скрытой тяжелой перчаткой, напоминавшей латную перчатку рыцаря, держал длинную трость черного дерева, судя по тусклому в сумерках блеску, с массивным золотым набалдашником, а на груди у него, под складками плаща, в сумерках мерцали звенья роскошной золотой цепи.

В комнате стояла полутьма, так что Схалкен не мог разглядеть незнакомца, а низко опущенные поля шляпы бросали тень на лицо, совершенно его скрывая. Из-под этой траурной шляпы выбивались густые волосы, и, судя по их темному цвету и по прямой осанке, незнакомец едва ли достиг шестидесяти лет.

В облике этого человека было что-то мрачное и величественное. Однако самое странное, если не сказать жутковатое, впечатление производила его каменная неподвижность, невольно вселявшая трепет, и потому раздраженный художник прикусил язык и воздержался от запальчивых замечаний. Несколько оправившись от испуга, он любезно предложил незнакомцу сесть и спросил, не нужно ли передать что-нибудь учителю.

— Скажите Герарду Доу, — произнес неизвестный, не пошевелившись и не сделав ни единого жеста, — что минхер Вандерхаузен из Роттердама желает поговорить с ним завтра вечером, в этот же час и по возможности в этой же комнате, о некоем важном деле. Это все. Доброй ночи.

Передав это послание, незнакомец резко повернулся и быстрыми, но бесшумными шагами вышел из мастерской, прежде чем Схалкен успел опомниться.

Молодому человеку стало любопытно, куда же, выйдя из дома, направится житель Роттердама, и потому он кинулся к окну и принялся наблюдать за входной дверью.

Мастерскую отделяла от входной двери просторная и длинная передняя, и Схалкен занял свой пост, до того как старик вышел из дома.

Однако он ждал напрасно, а другого выхода не было.

Неужели старик исчез? Или притаился в укромном уголке передней, лелея какое-нибудь коварное намерение? При мысли об этом Схалкен преисполнился ужаса, безотчетного, но столь сильного, что не мог ни оставаться долее в мастерской, ни заставить себя спуститься в переднюю.

Однако, переборов свой непонятный страх, он все же решился выйти из комнаты и, тщательно заперев дверь, спрятав ключ в карман и не смотря по сторонам, прошел по коридору, где только что побывал, а может быть, хоронился до сих пор таинственный гость. Лишь оказавшись на улице, Схалкен вздохнул с облегчением.

— Минхер Вандерхаузен, — задумчиво повторял Герард Доу, когда приблизился назначенный час, — минхер Вандерхаузен из Роттердама! Я и имени-то его никогда не слышал. Что ему от меня надобно? Может быть, хочет заказать портрет, а то отдать мне в обучение младшего сына или бедного родственника... А может быть, оценить собрание картин? Тьфу ты, в Роттердаме уж точно не найдется никого, кто мог бы оставить мне наследство! Что ж, мы скоро узнаем, зачем он приходил!

День уже клонился к закату, и за мольбертом из учеников Доу оставался один Схалкен. Герард Доу в нетерпеливом ожидании расхаживал по мастерской взад-вперед, вполголоса напевая отрывки мелодий собственного сочинения, так как, не будучи великим знатоком музыки, он все же восхищался этим искусством. По временам он останавливался взглянуть на какую-нибудь ученическую работу, но чаще подходил к окну, наблюдая за прохожими, спешащими по мрачному переулку.

— Послушай, Готфрид! — воскликнул Доу, устав от долгого и бесплодного ожидания и обернувшись к Схалкену. — Разве он не назначил встречу на семь по ратушным часам?

— Когда он явился, как раз пробило семь, сударь, — ответил ученик.

— Что ж, тогда он вот-вот появится, — заключил художник, сверяясь с большими круглыми, размером ничуть не меньше спелого апельсина, часами. — Так ты сказал, минхер Вандерхаузен из Роттердама?

— Да, так он представился.

— Пожилой человек в богатом платье? — продолжал допытываться Доу.

— Насколько я заметил, — откликнулся ученик, — он далеко не молод, но и не так уж

стар, а одет был богато и пышно, как приличествует состоятельному и почтенному горожанину.

В это мгновение гулкие размеренные удары ратушных часов возвестили наступление седьмого часа. Взгляды мастера и ученика невольно обратились к двери, а когда замер последний звон старинного колокола, Доу провозгласил:

— Ну, вскоре пожалует его милость, если, конечно, он намерен сдержать слово. Если нет, можешь подождать его, Готфрид, — тебе, поди, по вкусу придется общество старого бургомистра. Что же до меня, то я полагаю, в нашем добром старом Лейдене таких товаров и без него довольно — нечего из Роттердама ввозить.

Схалкен послушно рассмеялся, а Доу, помолчав несколько минут, продолжал:

— Что, если все это шутка, маскарад, затеянный Ванкарпом или еще каким-нибудь бездельником? Жаль, что ты не рискнул хорошенько отколотить этого бургомистра, губернатора, или как бишь его, дубиной. Ставлю дюжину рейнского, что его милость стал бы молить о пощаде под предлогом старой дружбы, не выдержав и трех ударов.

— Вот он идет, сударь, — тихо, предостерегающим тоном произнес Схалкен, и в тот же миг, повернувшись к двери, Герард Доу увидел того, кто накануне столь неожиданно предстал взору Схалкена.

Облик и осанка незнакомца тотчас убедили художника в том, что перед ним не ряженный, а человек почтенный и уважаемый. Потому он без промедления сдернул с головы берет, вежливо поприветствовал его и предложил ему сесть.

Гость слегка помахал рукой, словно благодаря за любезность, но не стал садиться.

— Я имею честь видеть минхера Вандерхаузена из Роттердама? — спросил Герард Доу.

— Да, это я, — последовал лаконичный ответ.

— Насколько я понял, ваша милость желает говорить со мною, — продолжал Доу, — и вот я здесь, в назначенный час, к вашим услугам.

— Этому человеку можно доверять? — осведомился Вандерхаузен, обернувшись к Схалкenu, стоявшему чуть поодаль, позади учителя.

— Разумеется, — подтвердил Герард.

— Тогда пусть отнесет эту шкатулку любому ювелиру или золотых дел мастеру по соседству, чтобы тот оценил ее содержимое, а потом возвращается с распиской, удостоверяющей его ценность.

С этими словами он передал Герарду Доу маленький ларчик, дюймов девяти в длину и в ширину, и тот был немало удивлен как его тяжестью, так и странной внезапностью подобного предложения.

Выполняя желание незнакомца, он передал его в руки Схалкена и, повторив указания, отослал Схалкена с необычным поручением.

Схалкен надежно укрыл драгоценную ношу складками плаща и, быстро миновав несколько узеньких переулков, остановился возле углового дома, нижний этаж которого в ту пору арендовал еврей-ювелир.

Схалкен вошел в мастерскую и, вызвав хозяина в темные задние комнаты, положил перед ним ларчик Вандерхаузена.

При свете лампы стало заметно, что на ларчик нанесен слой свинца, испещренного царапинами, покрытого грязью и почти побелевшего от времени. Когда ювелир с трудом удалил часть свинцового покрытия, под ним обнаружилась шкатулка темного и чрезвычайно твердого дерева. Замочек на ней тоже не без усилий взломали, и глазам Схалкена и ювелира

предстали туго завернутые в льняное полотно, тесно заполнявшие шкатулку золотые слитки, — все как один, по словам еврея, без малейшего изъяна.

Каждый слиток крошечный еврей подверг самому тщательному осмотру. Казалось, он испытывал чувственное наслаждение, осязая и взвешивая эти маленькие брусочки драгоценного металла, и опускал обратно в шкатулку с неизменным восклицанием: «Майн готт, само совершенство! Ни грана примеси! Чудо, истинное чудо!»

Наконец процедура оценки была завершена, и еврей выдал Схалкену расписку, удостоверяющую, что стоимость слитков, представленных ему для осмотра, равняется многим тысячам риксдалеров.

Спрятав вожделенную грамоту за пазухой, осторожно взяв шкатулку с золотом под мышку и укрыв ее складками плаща, он отправился в обратный путь и, войдя в мастерскую, обнаружил, что его учитель и незнакомец негромко, но увлеченно что-то обсуждают.

Дело в том, что едва Схалкен вышел из комнаты, дабы выполнить возложенное на него поручение, как Вандерхаузен обратился к Герарду Доу со следующими словами:

— Нынче вечером я могу задержаться у вас всего на несколько минут, а посему без промедления приступлю к делу, которое привело меня сюда. Месяца четыре тому вы побывали в Роттердаме, и вот тогда-то я и заметил в церкви Святого Лаврентия вашу племянницу, Розу Велдеркауст. Я хочу взять ее в жены, и если в мою пользу говорит то, что я несметно богат, богаче любого, кого вы могли бы выбрать ей в мужа, то, полагаю, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы помочь моему намерению осуществиться. Если вы принимаете мое предложение, то покончим с этим делом немедленно, не тратя время на размышления и проволочки.

Герард Доу, вероятно, был поражен внезапным признанием минхера Вандерхаузена, однако не выказал неуместного удивления. От неловкости художника удержало не только благоразумие и вежливость: он ощущал странный озноб и какую-то гнетущую подавленность, чувство сродни тому, что испытывает человек, случайно соприкасаясь с предметом, к которому питает естественное отвращение, то есть безотчетный страх и ужас. Потому он и не решался в присутствии эксцентричного незнакомца произнести что-то, что можно было бы хоть отчасти счесть оскорбительным.

— Нимало не сомневаюсь, — сказал Герард, предварительно несколько раз откашлявшись, — что ваше предложение чрезвычайно выгодно, а равным образом и почетно для моей племянницы. Однако вы, конечно, сознаете, что решение принимать ей и что, как бы мы ни радели о ее благополучии, она может заупрямиться.

— Не пытайтесь обмануть меня, господин художник, — оборвал его Вандерхаузен. — Вы ее опекун, а она ваша воспитанница, вверенная вашему попечению. Она отдаст мне руку, если вы того пожелаете.

С этими словами Вандерхаузен немного приблизился к Доу, и тот, сам не зная почему, мысленно взмолился, чтобы Схалкен вернулся побыстрее.

— Я намерен, — продолжал таинственный незнакомец, — предоставить вам свидетельство моего богатства и залог моей щедрости, которую обещаю проявлять к вашей племяннице. Сейчас ваш ученик вернется с суммой, в пять раз превосходящей то состояние, на которое она по праву может рассчитывать в браке. Этими деньгами, а равно и ее приданым, вы будете распоряжаться по вашему усмотрению так, чтобы они приносили ей выгоду. Совокупным состоянием ваша племянница будет владеть безраздельно на протяжении всей жизни. Разве это не великодушно?

Доу согласился, подумав, что судьба чрезвычайно благосклонна к Розе. Незнакомец, размышляя Доу, наверняка очень богат и щедр, и таким предложением, пусть сделанным человеком капризным, эксцентричным и дурным собою, пренебрегать не следует.

Роза не могла притязать на блестящую партию, имея лишь малое приданое, а в сущности не имея никакого, кроме того, что дал ей дядя. Не вправе она была подвергать сомнению и родовитость будущего жениха, так как сама не могла похвалиться высоким рождением. Что же до других возможных возражений, Герард решил пока их не слушать, а обычаи того времени вполне оправдывали подобное поведение.

— Сударь, — обратился он к знакомцу, — ваше предложение необычайно лестно, и если некоторые колебания и не позволяют мне принять его немедленно, то единственно потому, что я ничего не ведаю о вашем происхождении и положении в обществе. Но, разумеется, вы можете без труда разрешить все мои сомнения.

— То, что я человек добропорядочный, — сухо ответил незнакомец, — вам пока придется принять на веру. Не донимайте меня расспросами: вы узнаете обо мне ровно столько, сколько я сочту нужным вам открыть. У вас будет достаточный залог моей добропорядочности — мое слово, если вы честны, и мое золото, если вы негодяй.

«Вот ведь старый брюзга, — подумал Доу, — его не переспоришь. Впрочем, принимая во внимание все обстоятельства, я имею право отдать за него Розу. Да будь она даже моей родной дочерью, я поступил бы так же. Однако без нужды я не возьму на себя никаких обязательств».

— Без нужды вы не возьмете на себя никаких обязательств, — как ни странно, сказал Вандерхаузен, словно прочитав мысли своего собеседника, — но, полагаю, сделаете это, если возникнет в том необходимость, а я докажу вам, что без подобных обязательств не обойтись. Если вы согласны оставить у себя золото, которое я намерен вам передать, и если вы не отвергнете тотчас мое предложение, то, прежде чем я выйду из этой комнаты, вам придется подписать договор о помолвке.

С этими словами Вандерхаузен вручил Герарду бумагу, в которой значилось, что Герард Доу обязуется отдать Розу Велдеркауст за Вилкена Вандерхаузена, жителя Роттердама, и так далее, в течение недели по подписании указанного договора.

Когда художник читал это соглашение, Схалкен, как мы уже упоминали, вошел в мастерскую и, вернув знакомцу шкатулку и полученную от еврея расписку, собирался было уйти, но тот велел ему повременить и, в свою очередь передав шкатулку и расписку Доу, стал безмолвно ждать, пока художник удостоверится в подлинности залога. Наконец он спросил:

— Вы удовлетворены?

Художник ответил:

— Позвольте мне подумать еще один день.

— Я не дам вам и часа, — холодно отозвался поклонник Розы.

— Что ж, хорошо, — произнес Доу. — Я согласен. По рукам!

— Тогда подпишите немедленно, — сказал Вандерхаузен. — Я устал ждать.

С этими словами он извлек из-под плаща маленький ящичек с писчими принадлежностями, и Герард поставил под важным документом свою подпись.

— А этот юноша пусть засвидетельствует заключение договора, — добавил старик, и Готфрид Схалкен, сам того не подозревая, подписал соглашение, навеки отдававшее другому руку той, что составляла предмет его страсти и награду всех его усилий.

После того как стороны завершили заключение договора, старик сложил документ и тщательно спрятал его во внутреннем кармане.

— Я навещу вас завтра ввечеру, Герард Доу, в девять часов, в вашем доме, чтобы увидеть предмет нашей сделки. Прощайте.

Закончив эту тираду, Вилкен Вандерхаузен удалился, по-прежнему держась чопорно, но быстрыми шагами.

Схалкен, стремясь разрешить свои сомнения, бросился к окну, чтобы понаблюдать за входной дверью, но в результате его опасения лишь усилились, так как старик не вышел из дома. Это было совершенно непонятно, очень странно и жутко. Схалкен и его учитель вместе вернулись в мастерскую, по пути обменявшись лишь несколькими словами, потому что каждый был погружен в свои размышления, снедаем своими тревогами и лелеял свои упования.

Схалкен, однако, даже не подозревал о близком крушении надежд, которые он так долго питал.

Герард Доу не догадывался о сердечной склонности, связывавшей его племянницу и его ученика, а если бы и знал о ней, то едва ли счел бы ее серьезным препятствием на пути осуществления желаний минхера Вандерхаузена.

В ту пору в Голландии заключали браки, руководствуясь соображениями выгоды и расчета, и требовать, чтобы брачный союз зиждился на взаимности, показалось бы опекуну столь же нелепым, сколь составлять долговые расписки и вести расходные книги на языке рыцарских романов.

Однако художник не посвятил племянницу в подробности важного шага, который он предпринял в ее интересах, а его решимость пока сохранить свой поступок в тайне происходила вовсе не оттого, что он предвидел ее негодование. Скрыв от нее заключение помолвки, он был движим исключительно неуютным сознанием, что, попроси Роза (а это было бы вполне естественно) описать облик избранного им жениха, он будет вынужден признаться, что не видел его лица и даже не сумеет в случае необходимости узнать его.

На следующий день, отобедав, Герард Доу послал за племянницей, удовлетворенно осмотрел ее с головы до ног, взял за руку и, глядя с добродушной улыбкой в ее хорошенькое, невинное личико, произнес:

— Роза, девочка моя, твоя красота принесет тебе богатство.

Роза покраснела и улыбнулась.

— С таким пригожим личиком, да еще добронравная и покладистая... Это сочетание — редкостный любовный напиток, и мало отыщется умов и сердец, способных ему противостоять... Поверь мне, скоро к тебе начнут свататься, девочка моя. Впрочем, я все шучу и шучу, а мне надобно спешить, так что приготовь большую гостиную к восьми вечера и распорядись подать ужин к девяти. Сегодня я жду гостя. Да не забудь, дитя мое, нарядиться поизысканнее. Я не хочу, чтобы нас сочли бедняками или неряхами.

С этими словами он вышел из комнаты и направился в мастерскую, где в это время работали его ученики.

На исходе вечера Герард позвал Схалкена, который собирался было вернуться в свою темную и неприятную съемную каморку, и пригласил его поужинать вместе с Розой и Вандерхаузенем.

Он, разумеется, принял приглашение, и вскоре Герард Доу и его ученик уже сидели в изящно и несколько старомодно убранной комнате, приготовленной к приходу гостя.

В широком камине весело потрескивали дрова, чуть в стороне к нему придвинули старомодный, с украшенными богатой резьбой ножками стол, на который слуги собирались поставить изобильные кушанья, в это время приготавливаемые на кухне. Вокруг стола, на равном расстоянии друг от друга, расставили стулья с высокой спинкой, неуклюжесть которых с лихвой искупало их удобство.

Маленькая компания, состоявшая из Герарда, Розы и Схалкена, ожидала прихода гостя с явным нетерпением.

Наконец пробило девять, тотчас с улицы донесся стук в дверь, слуги не мешкая отворили, и лестница закрипела под медленными, тяжелыми шагами. Вот они приблизились, вот заныли под ними половицы в передней, вот медленно распахнулась дверь гостиной, где собралось описанное общество, и в комнату вошел давешний незнакомец, поразивший, если не ужаснувший, флегматичных голландцев и чуть было не заставивший Розу вскрикнуть от страха. Весь облик и одеяние говорили о том, что это давешний незнакомец, манеры, стать и рост свидетельствовали о том, что это минхер Вандерхаузен, однако его лица не видел прежде ни один из присутствующих.

Когда незнакомец остановился на пороге, все смогли хорошо разглядеть его черты и фигуру. Он был облачен в темный суконный плащ, короткий и широкий, не закрывавший колен, и в темно-фиолетовые шелковые чулки, а на башмаках его красовались банты того же цвета в виде пышных роз. В вырезе плаща виднелось нижнее платье из какой-то темной, возможно траурной, материи, а руки скрывали грубые кожаные перчатки, с высокими раструбами, наподобие латных перчаток рыцаря. В одной руке он держал трость и шляпу, которую снял, войдя в дом, другая бессильно свисала вдоль туловища. На плечи его ниспадали пряди густых, тронутых сединой волос, спускавшиеся на жесткий плюшевый воротник, полностью закрывавший шею.

Казалось бы, минхер Вандерхаузен был одет и держался, как подобает почтенному горожанину, но лицо! — лицо его заливала мертвенная, едва ли не синеватого оттенка бледность, какой придают коже обильно назначаемые целебные препараты металлов. Огромные глаза почти вылезали из орбит, а белки виднелись выше и ниже глазного яблока, придавая взору выражение безумия, которое лишь подчеркивала их остекленевшая неподвижность. Нос можно было вообразить на человеческом лице, зато рот был странно перекошен, а угол рта изуродовали два длинных пожелтевших клыка, выступавших из верхней челюсти и вонзавшихся в нижнюю губу. Сам цвет губ был едва ли не черным. На лице незнакомца застыло выражение неопишуемой, почти дьявольской злобы, и такое сочетание ужасных черт и в самом деле нельзя было объяснить, лишь предположив, что это труп некоего чудовищного грешника и злодея, долго гнивший на виселице, пока наконец не стал обиталищем гнусного демона, нашедшего приют в его теле ради сатанинской забавы.

Нетрудно было заметить, что почтенный незнакомец старается по возможности не показывать открытые части тела и что во время своего визита он ни разу не снял перчатки.

Несколько минут простояв на пороге, Герард Доу в конце концов собрался с духом и нашел в себе силы поприветствовать незнакомца. В ответ тот, безмолвно кивнув, прошел в гостиную.

Во всех его движениях было что-то необъяснимо странное, даже жутковатое, непонятная скованность, зловещая неестественность, словно всеми его членами управлял дух, не привыкший обращаться с таким механизмом, как тело.

Во время визита, продолжавшегося не более получаса, незнакомец едва ли вымолвил

хоть слово, а хозяин с явным трудом заставил себя произнести несколько положенных приветствий и вежливых банальностей. В самом деле, облик Вандерхаузена вселял в присутствующих такой трепет, что казалось, еще немного, и они с воплями ужаса бросятся прочь из комнаты.

Однако они не настолько утратили самообладание, чтобы не заметить две странные особенности, отличавшие минхера Вандерхаузена.

В течение получаса он ни разу не закрыл глаза и даже ни разу не моргнул, а кроме того, держался совершенно неподвижно, точно неживой, так как грудь его не вздымалась и не опадала, словно он и не дышал вовсе.

Эти детали его облика, сами по себе как будто незначительные, произвели на маленькое общество самое тягостное впечатление. Наконец Вандерхаузен избавил лейденского художника от своего зловещего присутствия, и маленькая компания с великим облегчением услышала, как за ним затворилась входная дверь.

— Дядюшка, — воскликнула Роза, — какой урод! За все сокровища Америки я бы больше не согласилась и часа провести в его обществе!

— Тише, глупышка! — оборвал ее Доу, томимый крайней неловкостью. — Мужчина может быть безобразнее самого дьявола, но, коль скоро его душа чиста, а деяния праведны, он ничуть не уступает всем этим хорошеньким, расфранченным юнцам, что слоняются без дела в парках да по набережным. Роза, девочка моя, он и вправду куда как нехорош собой, но я знаю, что он богат и щедр, и будь он в десять раз отвратительнее...

— Быть такого не может, — вставила Роза.

— ...двух этих добродетелей достало бы, — продолжал ее дядя, — чтобы искупить его безобразие, и если они и не в силах изменить его черты, то по крайней мере позволят забыть о том, как он непригож.

— Знаешь, дядя, — заметила Роза, — едва я увидела его на пороге, как не могу отделаться от мысли, что передо мной старинная деревянная расписная фигура из церкви Святого Лаврентия в Роттердаме, которой я так боялась в детстве.

Герард рассмеялся, однако мысленно не мог не подивиться и вправду поразительному сходству. Тем не менее он решил по возможности пресекать любые попытки племянницы посмеяться над нареченным, хотя весьма обрадовался, заметив, что Роза, по-видимому, совершенно не испытывает перед незнакомцем того необъяснимого страха, который, как он не мог себе не признать, охватывал в присутствии Вандерхаузена его самого и его ученика Готфрида Схалкена.

На следующее утро из городских лавок для Розы стали доставлять штуки шелка и бархата, драгоценности и всевозможные богатые подарки. Кроме того, Герарду Доу пришло послание, в коем содержался составленный по всем правилам брачный контракт, скреплявший союз между Вилкеном Вандерхаузенем, проживающим на набережной Бом-Кай, в Роттердаме, и Розой Велдеркауст из Лейдена, племянницей Герарда Доу, магистра живописи, уроженца того же города. В брачном контракте значилось, что Вандерхаузен предоставляет Герарду Доу право распоряжаться ее имуществом на куда более щедрых условиях, чем он полагал раньше, поскольку состояние Розы, согласно контракту, целиком и полностью передавалось в руки Герарда Доу.

Я не собираюсь описывать сентиментальные сцены, сетовать на жестокость опекунов, оплакивать благородство воспитанниц или изображать страдания влюбленных. Я излагаю историю подлости, легкомыслия и своекорыстия. Спустя менее чем неделю после первой

встречи, о которой мы только что упомянули, Вилкен Вандерхаузен и Роза Велдеркауст, согласно условиям контракта, вступили в брак, и Схалкен увидел, как предметом его страстных желаний, ради которого он готов был все поставить на карту, с торжеством завладел зловещий соперник.

Несколько дней он не появлялся на занятиях, а по возвращении принялся за работу пусть и с меньшим жаром, зато с еще большим усердием и решимостью, ведь романтические мечты сменились для него мечтами честолюбивыми.

Проходили месяцы, и, против всех ожиданий и даже в нарушение всех обещаний, Герард Доу не имел никаких известий от своей племянницы или ее почтенного супруга. За процентами с капитала, которые по условиям брачного договора его племяннице полагалось получать раз в три месяца, к Герарду никто не приходил. Он не на шутку встревожился.

Местожителство минхера Вандерхаузена в Роттердаме ему было хорошо известно. После некоторых колебаний он в конце концов решился отправиться туда сам, совершив недолгое и необременительное путешествие, и таким образом убедиться в здравии и благополучии племянницы, к которой был глубоко и искренне привязан.

Однако все его поиски оказались напрасны. Никто в Роттердаме даже не слышал о минхере Вандерхаузене.

Герард Доу обошел все дома на набережной Бом-Кай, но тщетно. Никто не мог сообщить ему никаких сведений, касающихся предмета его поисков, и он вынужден был вернуться в Лейден ни с чем.

По возвращении он поспешил в контору, где Вандерхаузен нанимал неуклюжую, но по тем временам необычайно роскошную карету, которая должна была доставить его самого и его невесту в Роттердам. От кучера он узнал, что, двигаясь медленно, с частыми остановками, к ночи они достигли Роттердама. Однако, когда до городской черты оставалась примерно миля, путь карете преградили несколько мужчин в скромных старомодных платьях, с усами и остроконечными бородками, неведомо откуда взявшихся посреди дороги. Кучер в страхе натянул вожжи, решив, что в столь поздний час на пустынной дороге стал жертвой разбойников.

Однако его опасения несколько развеял большой старинный паланкин, который эти странные люди принесли и немедленно опустили на землю. После этого жених, открыв изнутри дверцу кареты, вышел, помог выйти горько плакавшей и ломавшей руки невесте, отвел ее в паланкин, усадил и сам занял место рядом с нею. Странные люди тотчас окружили носилки, подняли их, быстро удалились в сторону города, и не успели они пройти и десятка шагов, как их поглотила тьма и они скрылись из глаз голландского автомедона.

В карете он обнаружил кошель с суммой денег, трижды превосходившей плату за ее наем и услуги кучера. Более он не видел ни минхера Вандерхаузена, ни его прекрасную супругу и не мог о них ничего сообщить. Их таинственное исчезновение чрезвычайно взволновало и едва ли не повергло в скорбь Герарда Доу.

Вандерхаузен явно обманул его при заключении сделки, хотя зачем ему это понадобилось, Герард никак не мог взять в толк. Он сильно сомневался в том, что человек, облик которого несет на себе печать поистине сатанинской злобы, не окажется негодяем, и каждый день, не приносящий известий от его племянницы и о ней, не притуплял его страхи, а, напротив, лишь усиливал их.

Утрата ее веселого общества также угнетала его дух, и, чтобы хоть сколько-то побороть уныние, частенько охватывавшее его вечерами, по завершении работы он стал приглашать к

себе домой Схалкена, который до известной степени скрашивал его одиночество во время позднего ужина.

Однажды вечером художник и его ученик как раз расположились у огня. Они сидели в молчании, погруженные в задумчивость, что нередко случается после обильной трапезы, как вдруг их размышления прервал громкий шум у входной двери, словно кто-то пытался ворваться в дом силой. Слуга тотчас кинулся разузнать, что там происходит, и Герард и его ученик слышали, как он несколько раз спросил, кто там, но ответа не получил, а яростные удары в дверь все не прекращались.

Потом они слышали, как он отворяет дверь в переднюю, и на лестнице тотчас раздались легкие быстрые шаги. Схалкен положил руку на эфес шпаги и двинулся к двери. Но не успел он подойти поближе, как дверь распахнулась и в комнату влетела Роза. Казалось, она вне себя, безумная, истощенная и бледная от утомления и ужаса, но ее наряд поразил их не менее ее внезапного появления. Он представлял собою некое подобие белого шерстяного платья с глухим воротом, ниспадавшего до земли, запачканного и в пути обратившегося в лохмотья. Едва переступив порог, бедная девушка лишилась чувств. С большим трудом они привели ее в сознание, и, очнувшись, она, смертельно испуганная, немедленно принялась сбивчиво, нетерпеливо умолять: «Ради всего святого, вина, вина, или я погибла!»

Чрезвычайно встревоженные ее буйными, бессвязными речами, они поспешили исполнить ее желание, и Роза залпом осушила бокал вина с неестественной жадностью, которая их поразила. Едва выпив вино, она воскликнула с той же настойчивостью в голосе: «Ради всего святого, накормите меня, а не то я умру!»

На столе оставалась от ужина немалая часть жареного окорока, и Схалкен тотчас стал нарезать его, но Роза, едва заметив мясо, опередила Схалкена, выхватила мясо у него из рук, словно голодная волчица, вцепилась в окорок зубами и принялась жадно отрывать от него целые куски.

Утолив приступ неукротимого голода, она, казалось, осознала всю странность своего поведения, а может быть, ею овладели более мрачные и тревожные мысли, так как она горько заплакала и стала ломать руки.

— О, пошлите за священником! — повторяла она. — Я в смертельной опасности, пока он не избавит меня от зла, немедленно пошлите за священником!

Герард Доу тотчас отправил слугу за священником, отдал в распоряжение племянницы свою спальню и после долгих уговоров и увещаний убедил ее удалиться туда отдохнуть, однако Роза поставила неременное условие, что ни он, ни Схалкен ни на минуту не оставят ее в одиночестве.

— О, если бы рядом со мной был человек святой жизни, — молила Роза, — он бы спас мою душу! Живые и мертвые не вправе соединяться узами брака, Господь воспретил подобное нечестие!

Произнеся эти загадочные слова, Роза наконец позволила увести себя в комнату, которую предназначил ей Герард Доу.

— Не оставляйте меня, не оставляйте ни на миг, — просила она. — Если вы это сделаете, я погибла навеки!

Путь в спальню Герарда Доу лежал через просторное помещение, в которое они как раз входили. Герард Доу и Схалкен несли по восковой свече, ярко освещавшей все близлежащие предметы. Едва они ступили на порог комнаты, смежной со спальней Герарда Доу, как Роза

внезапно замерла и дрожащим от ужаса голосом прошептала:

— Боже мой! Он здесь, он здесь! Смотрите, смотрите — вот он!

Она указала на дверь спальни, и Схалкену почудилось, будто туда проскользнула какая-то призрачная, почти неразличимая тень. Он выхватил из ножен шпагу и, высоко подняв свечу, чтобы отчетливо разглядеть всю обстановку спальни, вошел, ища глазами призрачную фигуру. Однако внутри никого не оказалось — одна лишь мебель стояла на своем привычном месте. И все же он готов был побиться об заклад, что кто-то или что-то, опередив их, тайно проникло в комнату.

Его охватил нестерпимый ужас, на лбу выступили капли холодного пота, он почти утратил остатки самообладания, услышав, как жалобно, страдальчески Роза умоляет не оставлять ее одну ни на мгновение.

— Я видела его, — шептала она. — Он здесь! Меня не обмануть, я его узнала. Он где-то рядом, он со мной, он в этой комнате. Молю вас, заклинаю спасением души: не покидайте меня!

Наконец они убедили ее лечь в постель, но она по-прежнему молила не оставлять ее в одиночестве. Она беспрестанно повторяла обрывки каких-то бессвязных фраз, бормоча то «Живые и мертвые не вправе соединяться узами брака, Господь воспретил подобное нечестие!», то «Да бодрствуют живые и да упокоятся с миром мертвые!».

Эти и похожие путаные обрывки таинственных фраз она повторяла до тех пор, пока не пришел священник.

Естественно, Герард Доу опасался, что бедная девушка лишилась рассудка от ужаса или побоев, и смутно подозревал, что, судя по внезапности ее появления в столь поздний час и прежде всего по бессвязным, диким, непонятым речам, она сбежала из смиренного дома и чрезвычайно боится преследования. Как только разум его племянницы успокоит благодетельное попечение священника, посещения которого она так страстно желала, он решил призвать лекарей, а до тех пор не рисковал терзать ее расспросами, чтобы не растравить мучительные воспоминания о пережитом ужасе и не растревожить ее пуще прежнего.

Вскоре явился священник, достойный старик аскетического облика, весьма почитаемый Герардом Доу, ибо он поседел в ожесточенных религиозных диспутах, хотя и вызывал скорее страх как воинственный спорщик, нежели любовь как христианин, — человек безупречной нравственности, утонченного ума и ледяного сердца. Он вошел в комнату, смежную с той, где полулежала на постели Роза, и она тотчас же потребовала, чтобы он помолился за нее, ибо она во власти сатаны и может уповать лишь на милосердие Господне.

Чтобы наши читатели представляли себе обстоятельства события, которое мы намерены весьма несовершенно описать, необходимо указать, где находились в этот момент все его участники. Старый священник и Схалкен пребывали в передней, о которой мы уже упомянули; Роза лежала во внутренней комнате, дверь в которую была отворена, а возле постели по ее настоянию остался опекун. В спальне горела одна свеча, а в смежной комнате — еще три.

Старик откашлялся, словно собираясь начать молитву, но не успел он произнести и слова, как неизвестно откуда взявшийся сквозняк задул свечу, освещавшую комнату, где лежала бедная девушка, и она, охваченная тревогой, тут же воскликнула:

— Готфрид, принеси новую свечу, мне страшно в темноте!

И в это мгновение Герард Доу, забыв ее многочисленные мольбы под воздействием

внезапного побуждения, вышел из спальни в смежную комнату за свечой.

— О боже мой, не уходите, дорогой дядюшка! — вскричала несчастная, в ту же секунду вскочив с постели, бросившись вслед за ним и стремясь его удержать.

Но предупреждение опоздало, ибо едва он переступил порог, едва его племянница предостерегающе воскликнула, как разделявшая комнаты дверь с громким стуком захлопнулась, словно затворенная сильным порывом ветра.

Герард Доу и Схалкен кинулись к двери, однако даже общими отчаянными усилиями не смогли приоткрыть ее ни на волос.

Из спальни доносился непрекращающийся душераздирающий крик ужаса и муки. Схалкен и Доу, изнемогая от напряжения, пытались выбить дверь, но тщетно.

Изнутри не слышалось шума борьбы, однако крики делались все громче и громче, потом раздался звук отодвигаемой задвижки на решетчатом окне, а потом проскрежетало по подоконнику открываемое окно.

До них донесся последний крик, долгий, пронзительный и столь мучительный, что его, казалось, не могло исторгнуть человеческое горло. Внезапно все смолкло и воцарилась мертвая тишина.

Тут в спальне слегка скрипнули половицы, словно кто-то прошел от кровати к окну, почти в то же мгновение дверь поддалась под напором, и Герард Доу со Схалкеном, едва устояв на ногах, ворвались в комнату. Там было пусто. Окно было широко распахнуто, и Схалкен, вскочив на стул и выглянув на улицу, попытался рассмотреть расположенный внизу канал и набережную. Он никого не заметил, однако увидел, или ему только почудилось, круги, широко расходящиеся на водной глади, будто в глубину минуту назад кануло что-то большое и тяжелое.

Роза исчезла бесследно, о ее таинственном супруге тоже не удалось ничего выведать, даже и догадки строили попусту, а потому не нашлось нити, способной вести тех, кто был озабочен судьбой Розы, в лабиринте тайн и прояснить смысл этой зловещей и жуткой истории. Однако впоследствии произошел некий случай, который хотя и не может восприниматься разумными читателями как проливающий свет на эту мрачную тайну, произвел неизгладимое впечатление на душу Схалкена.

Спустя много лет после описываемых событий Схалкен, в ту пору живший далеко от Лейдена, получил известие о смерти своего отца и его предстоящих похоронах в назначенный день в роттердамской церкви. Траурной процессии, как нетрудно догадаться, весьма немногочисленной, предстояло проделать немалый путь. Схалкен едва успел добраться до Роттердама вечером того дня, когда было назначено погребение. Траурная процессия еще не прибыла. Вечер сменился ночью, а шествие все не показывалось.

Схалкен направился в церковь, где, согласно уведомлению о предстоящих похоронах, уже открыли склеп, в котором суждено было упокоиться умершему. Служитель, исполнявший примерно те же обязанности, что у нас церковный сторож, увидел хорошо одетого господина, приехавшего на церемонию и в задумчивости прохаживавшегося между рядами кресел. Он любезно пригласил его погреться у пылающего огня, который он, по своему обыкновению, разводил зимой в комнате, откуда маленькая лесенка вела в расположенный внизу склеп.

Схалкен и церковный сторож уселись у огня, и служитель после нескольких бесплодных попыток завести беседу был вынужден скрашивать свое одиночество трубкой и кружкой с пивом.

Несмотря на горе и заботы, после почти двухдневного утомительного путешествия, предпринятого к тому же в спешке, ум и тело Схалкена постепенно охватила усталость, и он забылся глубоким сном, от которого пробудился, лишь когда кто-то осторожно тронул его за плечо. Первой мыслью Схалкена было, что его будит церковный сторож, однако того не оказалось в комнате.

Он встрепенулся и, как только его глаза стали ясно различать окружающие предметы, заметил женщину, одетую в легкую кисею, складки которой ниспадали с головы, словно вуаль, и держащую в руке лампу. Казалось, женщина спешит прочь, направляясь к ступенькам, которые вели в склеп.

Глядя на нее, Схалкен ощутил смутную тревогу и вместе с тем непреодолимое желание последовать за ней. Он двинулся за ней к склепам, но на верхней площадке лестницы остановился. Женщина тоже замерла и, медленно обернувшись, предстала в свете лампы его первой любовью, Розой Велдеркауст. В ее лице, во всех его чертах Схалкен не различил ничего ужасного и даже печального. Напротив, она улыбалась все той же лукавой улыбкой, что очаровывала художника давным-давно, в его счастливые дни.

Благоговейный трепет и желание во что бы то ни стало проникнуть в тайну, которым Схалкен не мог противиться, заставили его последовать за призраком, если это и вправду был призрак. Она спустилась по ступенькам — он последовал за нею, повернув налево по узкому проходу, и тут они, к его невыразимому изумлению, оказались в убранной в старинном вкусе голландской комнате, весьма напоминавшей те, что увековечил на своих картинах Герард Доу.

Комнату загромождала ценная старинная мебель, а в углу виднелась кровать с опущенным пологом тяжелого черного сукна на четырех столбиках. Тень Розы то и дело оборачивалась к Схалкену с лукавой улыбкой, а подойдя к постели, отдернула полог, и при свете ее лампы пораженный ужасом художник ясно разглядел, что в постели, прямо и неподвижно, точно кукла, сидит мертвенно-бледный, дьявольски безобразный Вандерхаузен. Едва увидев его, Схалкен без чувств упал на пол и пролежал так до утра, пока его не обнаружили служители, в обязанности которых входило запираť коридоры, ведущие в погребальные камеры. Его нашли на полу в просторном склепе, куда давно никто не входил, рядом с большим гробом, поставленным на маленькие каменные столбики для защиты от крыс и мышей.

До самого смертного часа Схалкен был убежден в том, что пережил истинное происшествие, а не пал жертвой галлюцинации. Вскоре после этого он запечатлел странное событие, столь поразившее его воображение, в любопытной картине, привлекающей внимание не только особенностями его авторского стиля, высоко ценимого знатоками, но и точным и схожим, хотя и написанным по памяти, портретом его первой возлюбленной, Розы Велдеркауст. Ее загадочной судьбе суждено было навеки остаться предметом догадок и домыслов.

На картине изображено помещение старинной постройки, какое можно найти в большинстве древних соборов, тускло освещенное лампой, а держит ее женщина, которую мы попытались описать выше. На заднем фоне, слева от зрителя, виден мужчина, явно только что разбуженный от сна и весьма встревоженный, судя по тому, что положил руку на эфес шпаги. Его освещает лишь огонь догорающих углей в камине.

Картина представляет собою прекрасный образец искусного и непревзойденного в своем роде владения приемами светотени, которое обессмертило имя Схалкена среди

голландских художников. Этот рассказ давно переходит из уст в уста, и читатель легко заметит, что, старательно избегая мелодраматических эффектов и не расцвечивая повествование на потребу сентиментальному вкусу, мы пытались поведать не фантастическую историю, а предание, связанное с жизнью знаменитого художника и ставшее частью его биографии.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

УЧАСТЬ СЭРА РОБЕРТА АРДАХА

На юге Ирландии, на окраине графства Лимерик, есть местность, простирающаяся на две-три мили и весьма любопытная тем, что это одна из немногих областей в стране, где еще сохранились остатки девственных лесов. Они мало или даже вовсе не напоминают величественные леса Америки, ибо самые старые царственные деревья давно пали под топором дровосека. Но густой лес по-прежнему сохранил особые и пленительные черты дикой природы: непролазные чащи, просеки, в которых взору наблюдателя открываются стада мирно пасущихся коров, приветные долины, где серые валуны виднеются под колеблемыми ветром лопастями папоротника, серебристые стволы старых берез и узловатые — вековых дубов, причудливо переплетающиеся, но изящные ветви, листья которых никогда не касались садовые ножницы, мягкие зеленые лужайки, перемежающиеся пятна света и тени, густая высокая трава, лишайник и мох. Все это прекрасно и весной, в пору свежей зелени, и осенью, в печальные дни увядания. Красота этих лесов такова, что наполняет сердце радостью — взывая к чувствам так, как умеет только природа. Этот лес простирается от основания вплоть до гребня длинной гряды зазубренных холмов, которые в доисторические времена, возможно, отмечали всего лишь опушку гигантского лесного массива, занимавшего всю гладкую равнину внизу. Но сейчас — увы! Куда мы идем? Куда привело нас развитие цивилизации? Оно обрушилось, точно ураган, на страну, совершенно к нему не подготовленную, и оставило после себя пустыню. Мы утратили наши прекрасные леса, ставшие жертвой хищных стяжателей. Мы разрушили все живописное и поэтичное, сохранив все, что свойственно грубым варварам.

Этот лес прорезан глубокой ложиной, или долиной, где тишину нарушает журчание горной речки, зимой превращающейся в бурный и опасный поток. В одном месте долина резко уходит в глубину и чрезвычайно сужается; ее склоны почти отвесно возвышаются над дном, достигая нескольких сотен футов. Лесные деревья, укоренившиеся в щелях и впадинах скалы, настолько свились и переплелись, что из-за их крон почти не различить реки, которая бурлит, несется по камням и пенится, словно наслаждаясь царящей вокруг тишиной и одиночеством.

Это место когда-то было с умыслом выбрано как важный стратегический пункт для возведения мощной и величественной квадратной башни, или твердыни, одна стена которой служит своеобразным продолжением отвесного утеса, где она возведена. Изначально проникнуть в замок можно было только сквозь узкие воротца в той самой стене, что возвышается над пропастью. Воротца выходили на уступ, по которому пролегла узенькая тропка, предусмотрительно пересеченная глубокой канавой, с великим трудом вырытой в скале, поэтому в древние времена, до того как войны стали вестись с применением артиллерии, крепость по праву могла считаться неприступной.

Однако смягчение нравов в последующие, не столь воинственные времена заставило ее хозяев задуматься если не об украшении, то по крайней мере о ее расширении, и в середине восемнадцатого века, при последних владельцах замка, квадратная башня составляла лишь одну из множества построек за замковыми стенами.

И замок, и обширные угодья вокруг с незапамятных времен принадлежали семейству, которое для ясности мы назовем Ардах. С этими землями связано множество слухов и

таинственных историй, они, подобно многим овечьим легендами местам Ирландии, неоднократно становились свидетелями жестокости феодального правления, и старинного варварского гостеприимства, и потому впоследствии о них стали слагать самые фантастические и необычайные предания. Такое предание поведал мне очевидец загадочных событий, о которых в нем рассказывается. Я точно знаю, что связано оно с одним из представителей семейства Ардах, однако мне трудно решить, насколько эти события искажена склонная к вымыслу и небылицам атмосфера легенд и какой отпечаток могла наложить на них ужасающая смутная неопределенность, словно пеленой обволакивающая реальность.

Согласно этому преданию, сэр Роберт Ардах, молодой человек, последний отпрыск рода, в конце восемнадцатого века отправился за границу служить в армиях иностранных держав, а впоследствии, снискав почести и получив немалое вознаграждение, поселился в замке Ардах, том самом, который мы только что попытались описать. Нравом он был, как говорят крестьяне, «пасмурный», иными словами, полагали его мрачным, хмурым и вспыльчивым, и, судя по тому, что жил он в совершенном одиночестве, с другими членами семьи не ладил.

Своему уединенному образу жизни он изменял лишь раз в году, когда устраивались, а потом бурно обсуждались очередные скачки. В сезон скачек его можно было встретить среди самых азартных игроков — он хладнокровно и неспешно делал крупные ставки и неизменно выигрывал. Однако сэра Роберта слишком хорошо знали как человека чести и благородного происхождения, чтобы заподозрить в обмане. Более того, он слыл бесстрашным солдатом и надменным гордецом, и потому никто не рисковал произнести вслух свои сомнения, за которые, возможно, сам бы и поплатился, не нанеся никакого ущерба доброму имени сэра Роберта.

И все же без слухов не обошлось. Все заметили, что сэр Роберт всегда появляется на ристалище, в единственном публичном месте, которое он удостоивал своим вниманием, в сопровождении некоего весьма странного человека, никогда нигде не показывавшегося, кроме как на скачках. Нетрудно было также заметить, что только с этим человеком, которого связывали с ним загадочные отношения, и ни с кем иным, сэр Роберт без крайней необходимости вступает в беседу. Все могли наблюдать, что хотя он избегает соседей-помещиков, лишь по необходимости обсуждая с ними свои ставки на скачках, с незнакомцем разговаривает подолгу, часто и серьезно. Предание утверждает, что любопытство праздных зевак, вызванное непонятным и исключительным предпочтением, которое оказывал незнакомцу сэр Роберт, подогревалось еще и поразительными и отталкивающими особенностями его облика и платья, — впрочем, предание умалчивает о том, в чем именно они заключались. Однако этого, вкуче с уединенным образом жизни сэра Роберта и его удачными ставками, делавшимися, вероятно, по наущению незнакомца, было достаточно, чтобы досужие болтуны объявили, что тут дело *нечисто*, и заключили, что сэр Роберт затеял рискованную и опасную игру, а его таинственный спутник немногим лучше самого князя тьмы.

Тихой чередой шли годы, уклад жизни в замке Ардах не менялся, вот только сэр Роберт расстался со своим загадочным спутником, но если никто не знал, откуда он взялся, то никто не мог сказать также, куда он исчез. Обычай сэра Роберта, однако, не претерпели изменений: он по-прежнему регулярно приходил на бега, по-прежнему не принимал участия в шумных развлечениях и дружеских пирушках соседей-помещиков и все так же уединялся у

себя в замке тотчас по окончании сезона скачек.

Ходили слухи, будто в его руках скопились несметные богатства, а поскольку он всегда делал крупные ставки и всегда выигрывал, то многие верили молве. Впрочем, и разбогатев, сэр Роберт продолжал вести замкнутый и суровый образ жизни: он не покупал земли, не радел о расширении поместья и, судя по всему, наслаждался своими сокровищами, как скупец, с трепетом прикасающийся к золоту, со страстью пересчитывающий монеты и радующийся самому сознанию своего богатства.

Однако нрав сэра Роберта за эти годы отнюдь не улучшился, напротив, он стал еще более мрачен и угрюм. Бывало, он предавался черной меланхолии с отчаянным самозабвением, которое граничило с безумием. Во время этих приступов умоисступления он не ел, не пил и не спал. В таких случаях он совершенно уединялся от мира, не допуская к себе даже доверенных слуг. Впрочем, те часто слышали его голос, доносившийся из закрытого покоя, — он то горячо умолял о чем-то, то громко и яростно бранился с каким-то неведомым пришельцем. Иногда он часами без устали, размахивая руками, с искаженным лицом метался по длинному, отделанному дубовыми панелями залу, по большей части служившему ему кабинетом и спальней, словно человек в состоянии необычайного возбуждения, только что внезапно получивший какое-то ужасное известие.

Подобные приступы явного безумия производили столь страшное впечатление, что даже самые старые и преданные слуги не решались в это время приблизиться к сэру Роберту. Поэтому в часы своих мук он всегда оставался в одиночестве, и причинам его страданий, судя по всему, суждено было навеки остаться тайной.

Однажды припадок умоисступления необычайно затянулся и длился не около двух дней, как это случалось прежде, а значительно дольше. Потому старый слуга, обыкновенно прислуживавший сэру Роберту после приступов этого наказания Господня и на сей раз тщетно ожидавший, когда же раздастся знакомый звон колокольчика, не на шутку встревожился. Он опасался, как бы его хозяин не умер от крайнего истощения или не покончил с собой в состоянии помрачения рассудка. Наконец страх настолько овладел им, что он, отчаявшись уговорить других слуг сопровождать его, решил в одиночестве направиться в замковую башню и посмотреть, что же случилось с сэром Робертом.

Оставив позади несколько коридоров, соединявших новые части замка со старыми постройками, и в конце концов оказавшись в холле, он внезапно почувствовал, сколь тягостное безмолвие царит в замке (дело было глухой ночью), с предельной ясностью осознал рискованный характер предприятия, в которое он вмешался по собственной воле, ощутил совершенное свое одиночество и удаленность от людей и, самое главное, испытал смутное, но несомненное дурное предчувствие. Его охватил столь неодолимый страх, что он не мог заставить себя двинуться дальше. Однако непритворная тревога о судьбе хозяина, к которому за долгие годы службы он стал питать привязанность, какую нередко вызывает давняя привычка к обществу даже самых отталкивающих людей, и тайное нежелание выставить слабость господина на посмешище перед остальными слугами как-то помогли ему преозмочь страх. Но не успел он поставить ногу на нижнюю ступеньку лестницы, которая вела в покои сэра Роберта, как его внимание привлек негромкий, но отчетливый стук в дверь холла. Возможно, не слишком сожалея о том, что нашелся повод отложить исполнение столь рискованного замысла, он поставил свечу на камень, лежавший в зале, и подкрался к двери, гадая, точно ли кто-то постучал, или это ему только послышалось. Он испытывал вполне оправданные сомнения, поскольку уже полвека вход через холл был закрыт. К тому же из-за

расположения ворот, которые, как мы уже упоминали прежде, выходили на узкий уступ, обрывающийся в пропасть, этот путь в замок в любое время суток, но особенно ночью, превращался в едва ли не самоубийственную затею. Отлого спускавшийся утес, по которому только и можно было подобраться к двери, перерезала глубокая канава, наподобие рва, а мостки над нею давным-давно исчезли — то ли сгнили от времени, то ли пропали по какой-то иной причине. Поэтому слуге представлялось по меньшей мере маловероятным, чтобы кто-нибудь благополучно достиг этим путем главного входа, особенно в такую ночь, как эта, когда безраздельно царила тьма. Старик, однако, внимательно прислушался, не повторится ли стук. Долго ждать ему не пришлось. Вскоре раздался тот же стук — негромкий, но отчетливый. Он был столь тихим, что казалось, будто стучат костяшками пальцев, и все же, несмотря на чудовищную толщину старинной двери, стучали сильно, ведь каждый звук четко доносился до слуха старого слуги.

Наконец постучали в третий раз, все так же тихо, и старик, повинувшись безотчетному порыву, который он до конца дней своих не мог себе объяснить, медленно отодвинул один за другим три тяжелых дубовых засова, запиравшие дверь. Время и влага настолько источили сталь замка, что он открылся без сопротивления. Дверь легко отворилась — как показалось слуге, не без напора извне, — и в зал шагнул низкорослый, приземистый человек, закутанный в широкий черный плащ. Слуга с трудом сумел рассмотреть незнакомца: на нем было платье иноземного покроя, полу плаща он закинул на одно плечо, его лицо скрывала большая широкополая шляпа, из-под которой ниспадали длинные, черные как вороново крыло волосы. Незнакомец носил грубые сапоги для верховой езды. Более слуга ничего не успел разглядеть в неверном свете свечи. Незнакомец потребовал, чтобы он доложил хозяину, что, как было условлено, прибыл его друг обсудить некоторые дела, касающиеся их обоих. Слуга было замешкался, однако гость сделал едва заметное движение, словно желая отобрать свечу, и тому ничего не оставалось, как подняться по лестнице в покои господина, а незнакомец стал ждать в холле.

Добравшись до комнаты, смежной с дубовым покоем, слуга, к своему удивлению, обнаружил, что дверь в него приоткрыта, а внутри горит свет. Он остановился и подождал, но из дубового покоя не доносилось ни звука. Он заглянул в щель и увидел сэра Роберта, упавшего головой на стол, где стояли две зажженные свечи. Он вытянул руки перед собой и не шевелился. Казалось, будто, сидя за столом, он бессильно уронил голову — или бездыханный, или лишившийся чувств. Слуга не расслышал его дыхания; в комнате раздавалось лишь громкое тиканье часов, лежащих возле свечей. Слуга несколько раз кашлянул, но не сумел разбудить сэра Роберта. Не сомневаясь более в том, что господин его мертв, он осторожно подошел поближе к столу, на котором лежал его хозяин, чтобы удостовериться в его смерти, но тут сэр Роберт медленно приподнял голову и, откинувшись на стуле, впери в него остановившийся безумный взор. Наконец с трудом, точно каждое слово давалось ему мучительно, боясь услышать ответ, он произнес:

— Во имя Господа, зачем ты здесь?

— Сэр, — ответил слуга, — там внизу какой-то господин, он желает говорить с вами.

Услышав это известие, сэр Роберт вскочил и, в неистовстве воздев руки, издал крик, исполненный столь неизбывного, отчаянного ужаса, что казалось, его не в силах вынести человеческое ухо. И еще долго после того, как крик его затих, пораженному ужасом слуге чудилось, будто эхо в пустых залах замка откликается на этот вопль раскатами адского хохота. Спустя несколько мгновений сэр Роберт вымолвил:

— Неужели ты не можешь его отослать? Почему он пришел так скоро? О Господь милосердный! Пусть он подождет хотя бы час, хоть немного... Я не могу встретиться с ним теперь, отошли его, прошу тебя, попробуй... Ты же видишь, я не могу сейчас к нему спуститься, у меня сил нет... О Боже мой, Боже мой! Пусть возвращается через час, долг ждать я его не заставлю. Он ведь ничего не потеряет, ничего, ничего, ничего. Скажи ему! Скажи ему что хочешь, умоляю, хоть что-нибудь!

Слуга возвратился к незнакомцу. По его собственным словам, он ног под собой не чувал, пока брел в холл. Незнакомец стоял там, где он его оставил. Слуга сбивчиво и бессвязно передал послание своего господина. На это незнакомец ответил небрежным тоном:

— Что ж, если сэра Роберт не хочет спуститься, я сам поднимусь к нему.

Слуга вернулся в дубовый покой и, к своему немалому удивлению, обнаружил, что его господин несколько овладел собой. Он выслушал ответ незнакомца, и, хотя капли холодного пота выступали на лбу у него быстрее, чем он успевал их отирать, его необычайное возбуждение заметно улеглось. Он неуверенно поднялся, бросил последний страдальческий взгляд на слугу и, пошатываясь, направился в смежную комнату, жестом запретив слуге следовать за ним. Слуга осторожно выбрался затем на верхнюю ступеньку лестницы, откуда можно было неплохо разглядеть холл, слабо освещенный свечой, которую он там оставил.

Он увидел, как его хозяин, хватаясь за перила, не спускается, а скорее падает с лестницы. Затем он, едва держась на ногах, пошел навстречу гостю. Незнакомец двинулся к нему и, проходя мимо, задул свечу. Более слуга ничего не сумел различить, однако до него донеслись звуки борьбы, то затихавшей, то снова разгоравшейся с безмолвным и страшным ожесточением. Однако слуга понял, что борющиеся приблизились к двери, так как несколько раз слышались удары по тяжелому дубу — о него, вероятно, задевали ноги противников, когда один с трудом теснил другого к выходу. Спустя несколько минут он услышал, как дверь распахнулась с такой силой, что ее створка, кажется, ударилась о стену холла, — в кромешном мраке ничего нельзя было разглядеть, и лишь по звуку можно было догадаться, что происходит. Борьба возобновилась и, судя по вырывавшимся у противников глубоким вздохам, шла не на жизнь, а на смерть. За чьей-то отчаянной попыткой удержаться, закончившейся тем, что часть двери разнесли в щепки, последовала новая схватка, очевидно вывернувшая дверной косяк. После этого противники, судя по звуку, выкатились на узкий уступ скалы над самой бездной и вновь вступили там в борьбу. Вскоре послышался шум падения, словно чье-то тяжелое тело обрушилось в пропасть и стремительно летело вниз, ломая тонкие ветки, скрывающие чудовищное жерло бездны. Затем все стихло, шум сменился безмолвием могилы, нарушаемым лишь стенанием ветра в лесной долине.

Старый слуга не решился вернуться в замок через холл, и ему чудилось, что бесконечный мрак будет царить вечно, но и он в конце концов под утро рассеялся, и тогда открылись события прошлой ночи. Возле двери, на земле, лежала португезя сэра Роберта, оборвавшаяся в яростной схватке. Огромный кусок дерева был вырван из дверного косяка каким-то сверхчеловеческим усилием, свидетельствующим о решимости и силе отчаяния, а на утесе виднелись следы упирающихся и оскальзывающихся ног.

На дне пропасти, не под стенами замка, а в некотором отдалении от него, были найдены останки сэра Роберта, обезображенные до неузнаваемости. Однако правая его рука не пострадала, и окостенелые пальцы ее сжимали последней мертвой хваткой длинную прядь черных как вороново крыло волос — единственное материальное свидетельство

загадочного и зловещего визита.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

СТРАНИЦА ИСТОРИИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА ИЗ ГРАФСТВА ТИРОН

В следующем повествовании я попыталась как можно точнее передать *ipsissima verba* [45] моей дорогой подруги, поведавшей историю собственной жизни, сознавая, что всякое отклонение от той манеры, в какой она ее излагала, неизбежно скажется на ее достоверности и превратит ее в подобие сказки.

Как жаль, что, передавая слова, я не могу дать читателю представление об оживленных жестах, о выразительном лице, о серьезности облика и торжественности тона, которым она посвятила меня в мрачные подробности своей волнующей и странной истории. Но более всего мне жаль, что я не в силах наделить читателя своим искренним убеждением, что рассказчица собственными глазами видела то, о чем говорила, и лично принимала участие в описываемых ею событиях. Эти обстоятельства, наряду с глубокой и скорбной религиозностью моей подруги, несовместимой с искажением истины или фальсификацией фактов, делают повествование особенно значимым и печальным, а не просто любопытным рассказом о невероятных событиях.

Я познакомилась с дамой, из уст которой услышала эту историю, почти двадцать лет тому назад, и рассказ этот столь поразил меня, что я тотчас, пока он не успел поблекнуть у меня в памяти, перенесла его на бумагу. Если это чтение развлечет вас в досужий час, то мои труды были не напрасны.

Я обнаружила, что записала историю от первого лица, так, как рассказала мне ее героиня, и, может быть, это к лучшему.

Вот как она начиналась:

— Я родилась в семействе Ричардсон, иными словами, принадлежала к весьма знатному роду из графства Тирон. Я была младшей из двух дочерей. Других детей кроме нас в семье не было. Разница в возрасте между мною и сестрой составляла почти шесть лет, поэтому в детстве я не могла наслаждаться тесным общением с нею и не имела в ней подруги по играм, как это обычно бывает, когда сестер не разделяют годы, и я была еще девочкой, когда сестра моя вышла замуж.

Руку она отдала некоему мистеру Кэрю, богатому и знатному джентльмену из Северной Англии.

Я помню знаменательный день ее венчания, кареты, тесно уставившие двор, шумных лакеев, громкий смех, веселые лица и нарядные платья. Подобное зрелище прежде мне видеть не доводилось, но оно нисколько не рассеивало тоскливого чувства, охватившего меня в преддверии разлуки с той, чья нежная забота до сих пор помогала переносить холодность матери.

Вскоре настал день, когда счастливой чете предстояло покинуть наше поместье Эшгаун-Хаус. У главного входа давно стояла заложенная коляска, а сестра все не могла расстаться со мной, снова и снова целуя меня и повторяя, что мы скоро увидимся.

Коляска укатила, а я все глядела и глядела ей вслед, пока глаза у меня не наполнились слезами, и, тихонько вернувшись к себе в комнату, заплакала неутешнее и горше, чем когда-либо прежде.

Отец, кажется, никогда не любил меня и даже мною не интересовался. Он всегда желал иметь сына и, думается, так никогда и не простил мне того разочарования, что постигло его при моем появлении на свет.

Мое рождение представлялось ему каким-то вторжением обманщицы, а поскольку причина его неприязни ко мне крылась в недостатке, исправить который я была не в силах, я не надеялась когда-либо снискать его любовь и уважение.

Моя мать, полагаю, относилась ко мне сносно, однако ее отличал рациональный и практический склад ума. Она нисколько не сочувствовала женским слабостям и даже обычным женским чувствам и привязанностям, не разделяла их и обращалась со мною строго, а по временам даже с излишней суровостью.

Поэтому нельзя сказать, что в обществе родителей я нашла утешение после разлуки с сестрой. Примерно год спустя после ее замужества мы получили письмо от мистера Кэрю, в котором тот уведомлял нас о болезни сестры, если и не показавшейся нам смертельной, то по крайней мере встревожившей нас. Он особенно подчеркивал, что сестра потеряла аппетит и страдает приступами кашля.

В заключение мистер Кэрю сообщал, что намерен воспользоваться неоднократными приглашениями моих родителей и привезти сестру в Эшгаун, в первую очередь потому, что пользовавшийся ее доктор настоятельно советовал ей какое-то время пожить на родине, в привычной с детства обстановке.

Кроме того, мистер Кэрю уверял нас, что здоровье сестры не внушает серьезных опасений, поскольку причину ее недомогания доктор видит в расстройстве печени, а не в чахотке, которую подозревали поначалу.

Как и было объявлено, сестра и мистер Кэрю приехали в Дублин, куда отец послал за ними карету, чтобы они могли отправиться в Эшгаун-Хаус в любой день и час, когда пожелают.

Мой отец и мистер Кэрю условились, что, как только будет выбран день отъезда, тот уведомит о сем письмом. Отец позаботился о том, чтобы два последних перегона они проделали на наших собственных лошадях, быстрых и надежных, в отличие от почтовых, которые в ту пору обыкновенно вызывали одни нарекания. Им предстояло покрыть за время путешествия не менее девяноста миль за два дня, с остановкой на ночлег, и большую часть пути — за второй день.

В воскресенье мы получили письмо, где говорилось, что они выедут из Дублина в понедельник и надеются прибыть в Эшгаун во вторник к вечеру.

Настал вторник, вечер подходил к концу, а кареты все не было; сгустилась тьма, а мы все ждали гостей, но тщетно.

Время шло, пробило полночь; стояла совершенная, ничем не нарушаемая тишина, ни один лист не шелохнулся, поэтому любой звук, тем более стук колес, донесся бы издалека. Его-то я дожидалась с замирающим сердцем.

Однако мой отец неукоснительно придерживался обыкновения запираť дом с наступлением ночи, и, когда закрыли ставни, я уже не могла разглядеть из окна подъездную аллею, как мне хотелось. Прошел почти час после полуночи, и мы уже отчаялись дожидаться их ночью, как вдруг мне почудилось, будто я различаю стук колес, но столь отдаленный и слабый, что вначале я не могла поручиться за истинность своих ощущений. Стук все приближался, делался громче и отчетливее, потом на мгновение затих.

Вот раздался пронзительный скрип ржавых петель — это распахнулись ворота,

выходившие на подъездную аллею, — вот снова послышался быстрый стук колес...

— Это они! — воскликнула я, словно очнувшись ото сна. — Карета катится по аллее!

Какое-то мгновение мы все стояли, затаив дыхание, и прислушивались. Карета с грохотом понеслась дальше, как ураган, кучер щелкал кнутом, колеса громко стучали, и вот уже карета, дребезжа и подпрыгивая, катится по мощенному неровным булыжником двору. Тут уже и собаки разразились дружным и яростным приветственным лаем.

Мы бросились в холл и тут услышали, как во дворе с особым, ни с чем не сравнимым лязганьем опустили подножку кареты, как вслед за ним раздались приглушенный шум голосов и обычная суэта, сопровождающая приезд. И вот, распахнув дверь холла, мы высыпали во двор навстречу гостям.

Двор был совершенно пуст; ярко светила луна, в ее лучах необыкновенно отчетливо предстали высокие деревья, омытые полуночной росой, пролегли по земле их длинные призрачные тени, и более ничего.

Мы замерли, в недоумении и страхе оглядываясь по сторонам, точно только что проснувшись. По двору, рыча и подозрительно обнюхивая землю, бродили мгновенно притихшие и, судя по всему, явно напуганные псы.

Не в силах понять, что произошло, мы в замешательстве и смятении глядели друг на друга, и полагаю, более мне не довелось видеть столько бледных лиц сразу. Отец приказал осмотреть все вокруг, в надежде отыскать причину таинственного шума, который мы слышали, или хотя бы выяснить, откуда он мог доноситься, но все тщетно, — даже грязь на подъездной аллее оказалась не потревоженной колесами. Мы вернулись в дом, пораженные ужасом, какой мне даже и не описать.

На следующий день от нарочного, скакавшего без отдыха почти всю ночь, мы узнали, что сестры моей нет в живых. Воскресным вечером она легла в постель, чувствуя себя довольно скверно, а в понедельник доктора безусловно признали ее недомогание гнилой горячкой. Час от часу ей становилось хуже, и во вторник, вскоре после полуночи, она скончалась.

Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно обросло тысячью самых недостоверных и фантастических слухов, хотя, казалось бы, истину не к чему расцвечивать домыслами, и еще потому, что оно произвело сильное и неискоренимое впечатление на мое душевное состояние, а возможно, и на характер.

На протяжении нескольких лет после описываемых событий, когда боль утраты слегка притупилась, я испытывала такую подавленность и нервозность, чувствовала себя столь жалкой и несчастной, что кажется, и вовсе не жила. За это время у меня развилась привычка избегать всяких сознательных решений и безучастно смиряться с чужой волей, боязнь вызвать хотя бы малейшее недовольство и отвращение к тому, что обыкновенно называют развлечениями. Подобные слабости стали неотъемлемой частью моего нрава, и я даже не думала их искоренить.

С мистером Кэрю мы более не виделись. Как только свершился печальный обряд похорон, он вернулся в Англию и не долго оплакивал покойную супругу: не прошло и двух лет со дня ее смерти, как он снова женился. После этого, поскольку жил он далеко от нас, а также в силу иных обстоятельств, мы постепенно потеряли друг друга из виду.

Отныне я была единственным ребенком, а так как моя сестра умерла, не оставив наследников, то состояние моего отца, коим он распорядился безраздельно, естественным образом должна была унаследовать я. Потому нет ничего удивительного, что мне не

исполнилось и четырнадцати, а Эштаун-Хаус уже осаждали толпы поклонников. Однако, оттого ли, что я была еще слишком молода, оттого ли, что ни одного искателя моей руки родители не сочли достаточно знатным и богатым, и отец и мать позволяли мне поступать, как мне заблагорассудится, и не принимать предложения. Я не испытала нежных чувств ни к одному поклоннику и впоследствии поняла, что в этом заключалась великая милость судьбы или, скорее, Провидения, ибо моя мать не потерпела бы, чтобы глупый каприз, как она обыкновенно именовала сердечную склонность, помешал осуществлению ее честолюбивых планов. Эти намерения моя мать воплотила бы, безжалостно сметая все преграды, и даже не преминула бы пожертвовать ради их осуществления столь безрассудным и презренным чувством, как любовь юной девушки.

Когда мне сравнялось шестнадцать, планы моей матери обрели отчетливое направление. Она приняла важное решение и вместе со мною отправилась на зиму в Дублин, чтобы, не теряя времени, наилучшим образом сбыть меня с рук.

Я так давно привыкла считать себя не стоящим внимания, жалким существом, что не могла и вообразить, будто я — причина всей этой суеты и шумных приготовлений. Избавленная своим неведением от страданий, я ехала в столицу, совершенно безучастная к своей будущей судьбе.

Богатство и знатное происхождение моего отца давали ему доступ в высшее общество, и потому, прибыв в Дублин, мы могли вращаться в самых изысканных кругах и участвовать в самых утонченных увеселениях, какие только сыщутся в столице.

Новая для меня обстановка большого города, новые впечатления не могли не развлечь меня, постепенно мое душевное расположение изменилось и я обрела свою прежнюю природную веселость.

Тотчас же в обществе распространился слух, что я богатая наследница, и, разумеется, многие сочли меня весьма привлекательной.

Среди множества родовитых поклонников, которых мне посчастливилось очаровать, один вскоре снискал такое расположение моей матери, что она немедленно отказала прочим, менее достойным искателям моей руки. Я, однако, не понимала его намерений, даже не замечала, что он увлечен мною, и нисколько не подозревала, какую судьбу уготовили мне его внимание и расчет моей матери, пока она совершенно неожиданно не открыла мне этого.

Мы вернулись с роскошного бала, который давал лорд М. в своей резиденции в Сейнт-Стивенс-Грин[46], и я с помощью служанки одну за другой поспешно сняла драгоценности, богатству и обилию которых могло позавидовать любое семейство Ирландии.

Я без сил опустилась в кресло у камина, утомленная долгим вечером, как вдруг мои грезы прервал звук приближавшихся шагов, и в комнату вошла моя мать.

— Фанни, душенька, — начала она как можно мягче, — я хотела бы поговорить с тобой, прежде чем ты ляжешь спать. Надеюсь, ты не очень утомлена?

— Нет, мадам, благодарю вас, — ответила я, торопливо поднимаясь с кресла, как того требовали старинные правила вежливости, коих почти никто не придерживается ныне.

— Сядь, душа моя, — сказала мать, усаживаясь на стул рядом со мной. — Мне нужно кое-что обсудить с тобою, нам хватит и четверти часа. Сондерс, — обратилась она к горничной, — можете идти. Дверь в комнату оставьте открытой, а дверь в переднюю закройте.

Приняв такие меры предосторожности и обезопасив себя от любопытных, моя мать

продолжала:

— Ты, без сомнения, замечала, Фанни, не могла не заметить знаки внимания, которые столь настойчиво оказывает тебе лорд Гленфаллен?

— Уверяю вас, мадам... — начала было я.

— Хорошо, хорошо, тебе не в чем оправдываться, — перебила меня она. — Конечно, юной девице пристала скромность, но послушай меня, душа моя, всего несколько минут, и я сумею убедить тебя, что в этом случае твоя скромность совершенно излишня. Ты добилась большего, чем мы ожидали, по крайней мере так скоро. В тебя влюблен лорд Гленфаллен. Поздравляю тебя с победой. — И, закончив эту маленькую речь, моя мать поцеловала меня в лоб.

— Влюблен в меня! — воскликнула я в непритворном удивлении.

— Да, влюблен, — повторила моя мать. — Он преданно, самозабвенно тебя любит. И что же здесь удивительного, душа моя? Погляди в зеркало и погляди на это, — продолжала она, с улыбкой указывая на драгоценности, которые я только что сняла и которые, сверкая, громоздились на моем туалетном столике.

— А что, если... — снова начала я и замолчала, терзаемая смущением и искренним страхом. — А что, если все это какая-то чудовищная ошибка?

— Ошибка? Помилуй, как можно, душенька, — ответила моя мать. — Это совершенно исключено. Сама посуди, прочитай это, дитя мое.

С этими словами она протянула мне адресованное ей письмо, печать на котором была взломана. Я прочитала его со все возрастающим изумлением. Сначала лорд Гленфаллен расточал высокопарные комплименты моей красоте и всевозможным совершенствам, превозносил древность и славу нашего рода, а потом сделал официальное предложение руки и сердца, о котором моя мать могла тотчас уведомить меня или нет, по своему усмотрению. В заключение лорд Гленфаллен испрашивал разрешения навестить нас в Эштаун-Хаусе, куда нам предстояло вернуться с наступлением весны, если его предложение будет принято благосклонно.

— Ну что ж, душенька, — нетерпеливо спросила моя мать, — ты знаешь, кто такой лорд Гленфаллен?

— Знаю, мадам, — робко откликнулась я, опасаясь ее упреков.

— И что же так тебя испугало, душа моя? — продолжала мать. — Его титул? Чем он мог повергнуть тебя в такой ужас? Он не стар и не безобразен.

Я промолчала, хотя могла бы добавить: «Он не молод и не хорош собою».

— Моя дорогая Фанни, — продолжала моя мать, — если рассудить здраво, тебе воистину посчастливилось снискать расположение такого родовитого аристократа, как лорд Гленфаллен, молодого и богатого, наделенного, по всеобщему убеждению, блестящими, да, блестящими качествами, представителя семейства, влияние которого не знает себе равных в Ирландии. Разумеется, ты смотришь на его сватовство так же, как и я, — полагаю, иначе и быть не может.

Последние слова она произнесла весьма недвусмысленным тоном. Меня столь поразила внезапность этого известия, что я и вправду не знала, как ответить.

— Надеюсь, ты ни в кого не влюблена? — спросила моя мать, резко обернувшись ко мне и пристально вглядываясь в мое лицо суровым испытующим взглядом холодных темных глаз.

— Нет, мадам, — пролепетала я, вне себя от ужаса, — да и какая барышня не испытала

бы подобных чувств на моем месте?

— Рада это слышать, — сухо откликнулась моя мать. — Однажды, тому уж лет двадцать, подруга спросила у меня совета, как поступить с дочерью, вышедшей замуж по любви, то есть оставшейся без гроша и опозорившей семью. Нимало не колеблясь, я сказала: «Надлежит забыть о ней, отринуть ее раз и навсегда». Такого наказания, по моему мнению, заслуживала девица, уронившая честь не моего, чужого семейства, — не моя, чужая дочь... Но точно так же, не испытывая и тени сожаления, ни минуты не помедлив, я наказала бы собственное дитя. Не могу вообразить более безрассудного и непозволительного поступка, чем своеволие девицы, вступающей в брак по любви и губящей своими пустыми капризами благополучие и репутацию семьи.

Она произнесла эту небольшую речь чрезвычайно сурово, а потом замолчала, словно ожидая от меня какого-то возражения, однако я промолчала.

— Но нет нужды объяснять тебе, моя дорогая Фанни, — продолжала она, — мои взгляды на замужество. Ты всегда их знала и до сих пор не давала мне повода полагать, будто ты способна сознательно оскорбить меня или злоупотребить, а тем более пренебречь теми преимуществами твоего положения, которые, повинувшись разуму и долгу, тебе следовало бы умножить. Поди же сюда, моя дорогая, и поцелуй меня; и потом, к чему этот испуганный вид? Кстати, о письме: ты можешь не отвечать на него сейчас. Несомненно, тебе потребуется время, чтобы все хорошенько обдумать. А я пока напишу его светлости, что он может навестить нас в Эштауне. Спокойной ночи, дитя мое.

Так завершилась одна из наиболее тягостных и странных бесед, которые когда-либо выпали на мою долю. Трудно было точно определить, что за чувства питала я к лорду Гленфаллену, — каковы бы ни были подозрения моей матери, сердце мое было совершенно свободно, — и до сих пор, хотя я и не догадывалась о его истинном отношении ко мне, лорд нравился мне как любезный, широко образованный человек, приятный светский собеседник. В юности он служил во флоте, и лоск, который обрели его манеры впоследствии, когда он стал вращаться в высшем обществе, не вовсе лишил его той открытости, какую молва неизменно приписывает морякам.

Насколько глубоки были эта искренность и открытость, мне еще только предстояло узнать. Однако, проведя в обществе лорда Гленфаллена немало времени, я убедилась, что, хотя он и старше, чем мне того хотелось, он человек приятный и любезный. Если я и питала к нему какую-то антипатию, то лишь поскольку не без оснований подозревала, что меня принуждают за него выйти. Однако я размышляла, что лорд Гленфаллен богат и всеми уважаем, и, хотя я никогда не смогу испытывать к нему страсти, я, без сомнения, буду с ним счастливее, чем дома.

При следующей нашей встрече мной овладело немалое смущение, но его такт и безупречное поведение вскоре вернули мне прежнюю уверенность, так что в свете никто не заметил моей неловкости и замешательства. Я уехала из Дублина в имение с радостным чувством, совершенно уверенная в том, что даже самые близкие мои знакомые не подозревают об официальном предложении руки и сердца, сделанном мне лордом Гленфалленом.

Это стремление сохранить все в тайне доставляло мне немалое облегчение, ибо меня не только охватывал безотчетный страх при мысли о сплетнях и пересудах, предметом коих я могу сделаться. Я сознавала также, что если злоречивый свет узнает о сватовстве, то в его глазах я буду связана обещанием и мне не останется ничего иного, кроме как принять

предложение лорда Гленфаллена.

Между тем быстро приближался срок визита лорда Гленфаллена в Эштаун-Хаус, и моя мать изо всех сил убеждала меня не противиться ее воле и дать согласие на брак до приезда лорда Гленфаллена, чтобы все прошло гладко, без упрямства и капризов с моей стороны. Поэтому любое мое сопротивление предстояло безжалостно подавить, любые, даже самые робкие проявления своеволия, на которые я могла отважиться, — искоренить раз и навсегда, еще до его приезда. И так моя мать взялась за эту задачу с решимостью и энергией, перед которыми пали бы даже преграды, возведенные ее собственным воображением.

Однако если она ожидала от меня упорного сопротивления, то была приятно удивлена. Сердце мое было совершенно свободно, лорд Гленфаллен мне нравился, и я прекрасно сознавала, что если я рискну ему отказать, нарушив волю родителей, то моя мать сделает все, что в ее силах, чтобы превратить мое домашнее существование в пытку, сравнимую с самым неудачным браком.

Напоминаю, мой добрый читатель, что я была очень молода и всецело зависела от родителей, а оба они, в особенности мать, не разбирались в средствах, когда речь шла о благополучии семьи. Если же те, на кого распространялась их власть, не подчинялись беспрекословно, они были намерены во что бы то ни стало навязать свою волю самым жестоким и безжалостным способом.

Потому-то, как нетрудно догадаться, я, не оказав ненужного сопротивления, тотчас приняла то, что представлялось мне моей судьбой.

В назначенный срок явился лорд Гленфаллен, которого я отныне считала моим нареченным; он пребывал в самом приподнятом настроении и так и сыпал шутками, остротами и забавными историями, всячески стремясь меня развлечь.

Я не в силах была разделять его веселость, однако мою подавленность с лихвой искупало безмятежное расположение духа моей торжествующей матери, расточавшей восторги и благосклонные улыбки.

Не стану утомлять читателя ненужными подробностями. Скажу лишь, что я обвенчалась с лордом Гленфалленом, и церемония была отпразднована с должной пышностью и торжественностью, как и пристало в столь богатом, знатном и уважаемом семействе. По обычаю того времени, нынче, по счастью, канувшему в Лету, пиршество затянулось далеко за полночь и в конце концов переросло в шумное, разнузданное, разгульное обжорство и пьянство.

Как сейчас помню, все это повергло меня в немалое смущение, особенно грубые и вульгарные шутки записных острословов и пустых бездельников, из тех, что не пропускают ни случая повеселиться и напиться пьяным за чужой счет.

Когда спустя несколько дней к подъездной аллее Эштауна подали карету лорда Гленфаллена, я нисколько не сожалела о том, что уезжаю, ведь любая перемена избавляла меня от чопорных, чинных и утомительных визитов, которые мне приходилось принимать во множестве как новой леди Гленфаллен.

Мы решили погостить в фамильном имении Гленфалленов, Кэргиллах, расположенном в одном из южных графств, и, поскольку состояние дорог в те времена оставляло желать лучшего, наше путешествие обещало продлиться не менее трех дней.

Итак, я отправилась в путь со своим титулованным супругом, и меня провожали кто с сожалением, кто с завистью, хотя Господь знает, сколь мало заслуживал зависти мой жребий. Трехдневное путешествие подошло к концу, мы как раз въехали на поросший

вереском холм, и тут нашим взорам предстало поместье Кэргиллах.

Зрелище это показалось мне столь же прекрасным, сколь и необычным. К западу простиралось обширное озеро, широко раскинувшуюся водную гладь которого окрасили пурпуром лучи заходящего солнца, а над ним теснились островерхие холмы, поросшие густой бархатистой травой. На зеленом травяном покрове холмов там и тут выделялись серые, изъеденные временем камни, а на склонах, среди лощин и низин, причудливо сочетались пятна света и тени. Холмы окаймляли густые заросли карликового дуба, берез и орешника, подступавшие к самым берегам озера и украшавшие каждый мыс, который выдавался в воду, а иногда и взбиравшиеся на вершины холмов.

— Вот и зачарованный замок, — произнес лорд Гленфаллен, указывая на широкую равнину меж двумя живописными холмами, смутно вырисовывавшимися на дальнем берегу озера.

Эта маленькая долина был покрыта тем же низкорослым диким лесом, что и основная часть поместья, однако посреди нее возвышалась роща куда более высоких и величественных деревьев, полускрывших старинную, квадратного сечения башню, которую окружало множество строений поменьше и поскромнее, вместе составлявших барский дом, или, как его обыкновенно называли, Кэргиллах-Корт.

Подъезжая по петляющей дороге к равнине, на которой стоял господский дом, мы могли любоваться видом поседевшего от времени древнего замка и прилегающих зданий. Глядя на его силуэт, открывавшийся в лучах заката в конце длинной аллеи высоких старинных деревьев, я не уставала повторять, что никогда прежде не видела более пленительного зрелища.

Я не без удовольствия заметила и столбики голубоватого кудрявого дыма, кое-где поднимавшиеся над трубами, скрытыми густым ярко-зеленым плющом, что настоящим ковром устилал стены замка. Вблизи замок выглядел весьма уютным и, несмотря на свою явную древность, не обнаруживал никаких следов упадка и разрушения.

— Уверяю вас, душа моя, — сказал лорд Гленфаллен, — этот замок вовсе не так плох, как может показаться. Я нимало не очарован стариной и уж во всяком случае никогда не поселился бы в доме только из-за его древности. Не помню, чтобы мне хоть раз удалось подавить в себе отвращение к крысам и ревматизму, этим неразлучным спутникам благородных поместий. Я безусловно предпочту уютную и удобную, вполне прозаическую спальню с сухими простынями какому-нибудь старинному покою со сквозняками, кольшущими полуистлевшие гобелены, с покрытыми плесенью подушками и прочими любопытными деталями, без которых не обходится ни один роман. Однако, хотя я и не могу пообещать вам множество неудобств, обыкновенно сопровождающих жизнь в старом замке, вам предстоит услышать здесь столько легенд и рассказов о призраках, что вы проникнетесь к нему невольным уважением. И если домом все еще управляет старая Марта, а я полагаю, это так и есть, она поведаст вам сверхъестественную историю о каждом уголке и чулане замка. Однако вот мы и дома, так что, без лишних слов, добро пожаловать в Кэргиллах!

Мы тотчас вошли в холл, и, пока слуги переносили наши сундуки и другой багаж, который мы привезли с собой, в покои, выбранные для нас лордом Гленфалленом, я вместе с ним направилась в просторную гостиную, отделанную изящными полированными панелями черного дуба и украшенную портретами достойных представителей рода Гленфаллен.

Окно гостиной выходило на широкую лужайку, покрытую мягкой бархатистой травой и причудливо обрамленную величественными деревьями, о которых я уже упоминала. Сквозь

их трепещущие листья, меж ветвями и стволами, как сквозь естественные арки, пробивались ровные лучи заходящего солнца. Поодаль несколько скотниц доили коров, напевая ирландские мелодии, обрывки которых доносились издалека, весьма приятно для слуха, а рядом с коровницами сидели или лежали, преисполненные чувства достоинства от сознания выполняемого долга, пять или шесть больших собак разных пород. Еще дальше сквозь переплетающиеся ветви деревьев можно было заметить, как оборванные деревенские мальчишки гонят к остальным коров, отбившихся от стада.

Пока я рассматривала эту сцену, меня охватило глубокое, как никогда прежде, чувство безмятежности и блаженства, и это ощущение показалось мне столь новым и незнакомым, что глаза у меня невольно наполнились слезами.

Лорд Гленфаллен принял мою растроганность за проявление грусти и, ласково взяв меня за руку, произнес:

— Не волнуйтесь, любовь моя, я вовсе не намерен здесь поселиться. Как только вы пожелаете уехать отсюда, вам достаточно будет сказать, и мы немедля покинем это мрачное место. Умоляю, не скрывайте от меня того, что вас тревожит и что я в силах изменить. Но вот и старая экономка, сейчас я представлю вас Марте, она нечто вроде семейной ценности, переходящей из поколения в поколение.

Марта оказалась бодрой, живой, добродушной пожилой женщиной, вовсе не напоминавшей мрачную, дряхлую, старую ведьму, которую нарисовало мое воображение, поскольку лорд Гленфаллен изобразил ее кладезем страшных историй, без сомнения во множестве связанных со старым замком.

Она радушно приветствовала своего господина и меня, неустанно поздравляя нас, попеременно то целуя нам руки, то прося прощения за эту вольность, пока наконец лорд Гленфаллен не прервал этот несколько утомительный обряд, потребовав, чтобы она отвела меня в предназначенные мне покои, если они уже приготовлены.

Я поднялась следом за Мартой по старинной дубовой лестнице, а затем прошла по длинному темному коридору, в конце которого виднелась дверь, а за нею, очевидно, располагались выбранные для нас комнаты. Здесь старушка остановилась и почтительно предложила мне пройти первой.

Я не заставила себя упрашивать, открыла дверь и собиралась было войти, как вдруг что-то вроде черной завесы, потревоженной моим внезапным появлением, обрушилось откуда-то сверху, совершенно закрыв дверной проем. Испуганная этим неожиданным происшествием и шорохом упавшей ткани, я невольно отпрянула и попятилась. Застенчиво улыбнувшись, я обернулась к старой служанке и сказала:

— Видите, какая я трусливая.

Марта поглядела на меня с недоумением, и я, не добавив более ни слова, хотела было отвести завесу в сторону и войти, но тут с немалым изумлением поняла, что дверной проем открыт и никакой пелены нет.

Я перешагнула порог, служанка последовала за мной, и я с удивлением заметила, что моя спальня, как и нижние покои, отделана панелями и возле двери нет никаких драпировок или гобеленов.

— Где она? Куда же она делась? — спросила я.

— Что вам угодно знать, миледи? — откликнулась старушка.

— Где черная завеса, которая упала сверху, закрыв дверной проем, когда я хотела войти? — повторила я.

— Храни нас Господь! — воскликнула старушка, внезапно побледнев.

— Что случилось, милая? — спросила я. — Вы точно чего-то испугались.

— Нет, миледи, — возразила Марта, тщетно пытаясь скрыть волнение, а потом, проковыляв к ближайшему стулу, без сил опустилась на него, столь бледная и пораженная ужасом, будто вот-вот лишится чувств.

— Господь милосердный, спаси и сохрани нас от всяческого зла! — пробормотала она наконец.

— Что же вас так напугало? — спросила я, начиная подозревать, что она видела больше, чем я. — Уж не больны ли вы, бедняжка?

— Нет-нет, миледи, — ответила она, встав со стула. — Прошу у вашей светлости прощения за дерзость. Да убережет нас Господь от всяческих несчастий!

— Марта, — решительным тоном произнесла я, — что-то чрезвычайно вас напугало, и я настаиваю, чтобы вы открыли мне, что именно. Если вы попытаетесь утаить это, вы только меня встревожите, и я не успокоюсь, пока не выясню, в чем дело. Поэтому я требую, чтобы вы сказали мне, что вас так взволновало, — я приказываю вам.

— Миледи, вы сказали, что черная завеса упала, закрыв дверной проем, когда вы хотели войти в комнату.

— В самом деле, так все и было, — подтвердила я. — Однако я не понимаю, что в этом, пусть даже странном происшествии могло так напугать и встревожить вас.

— Не к добру вы увидели это, миледи, — пробормотала старуха. — Черная завеса предвещает что-то ужасное. Это знак, миледи, зловещий, недобрый знак: быть беде...

— Объясните, моя милая, объясните же, что вы имеете в виду, — умоляла я, невольно заражаясь ее безотчетным ужасом.

— Всякий раз, перед тем как в семействе Гленфаллен суждено случиться несчастьем, один из рода или кто-то из домочадцев видит черный платок или завесу, колышущуюся или падающую прямо у него перед глазами. Я сама ее видела, — продолжала она, понизив голос, — маленькой девочкой, и никогда этого не забуду. Я и прежде о ней слышала, но видеть ее мне ни до того, ни после не доводилось, хвала Создателю. А в тот раз, утром, я шла в спальню леди Джейн, готовясь разбудить ее светлость. Как сейчас помню, только я раздвинула полог, и у меня перед глазами точно что-то темное пролетело, и длилось это всего секунду, не больше, но, приглядевшись, я поняла, что леди Джейн мертва и тело ее уже остыло, храни нас Господь! Потому, миледи, не судите меня строго, если меня так испугал ваш рассказ, — я о черной пелене много раз слышала, хотя своими глазами видела лишь однажды.

От природы я несуетерна, однако, несмотря на усилия воли, меня охватил трепет, весьма напоминающий ужас, о котором без всякой утайки поведала служанка, а вспомнив о моем положении, об одиночестве в уединенном, старом, мрачном замке, вы признаете, что подобная слабость хотя бы отчасти была оправданна.

Однако вопреки зловещим предсказаниям Марты дни шли за днями, совершенно безмятежно, не принося никаких бедствий и несчастий. Впрочем, здесь необходимо упомянуть об одном происшествии, вполне ничтожном, но способном пролить свет на дальнейшие события.

На следующий день после нашего приезда в имение лорд Гленфаллен, конечно, захотел показать мне дом и поместье, и мы отправились осматривать Кэргиллах-Корт. На обратном пути он вдруг сделался непривычно молчалив и угрюм, чем немало меня удивил.

Тщетно пыталась я развеселить его, делясь с ним своими замечаниями и осыпая его вопросами. Наконец, когда мы подходили к дому, он пробормотал, словно обращаясь к самому себе: «Нет, это было бы безумие, истинное безумие, — с горечью повторив несколько раз это слово, — верная, скорая гибель».

Потом он надолго замолчал и вдруг, обернувшись ко мне, тоном, совершенно не похожим на тот, каким он до сих пор ко мне обращался, произнес:

— Способна ли, по-вашему, женщина хранить тайну?

— Думаю, болтливость женщин чрезвычайно преувеличивают... Поэтому я отвечаю на ваш вопрос с той же прямоотой, с какой вы его задали, — да, женщины и вправду умеют хранить тайну.

— А я уверен в обратном, — сухо ответил он.

Какое-то время мы шли молча. Я была весьма удивлена его непривычной резкостью, если не сказать грубостью.

Спустя несколько минут он спохватился и с деланой веселостью добавил:

— Ну что ж, достойно уважения умение хранить тайну, но почти столь же почтенно умение не любопытствовать. Болтливость обычно сопровождает любопытство. Для начала я подвергну вас испытанию и выведу, на что вас способно подвигнуть любопытство. Я притворюсь Синей Бородой, — тьфу, что это за шуточный тон я взял? Послушайте меня, дорогая Фанни, сейчас я говорю со всей возможной серьезностью. От того, выполните ли вы мои указания, зависит ваше благополучие и ваша честь, да и моя тоже, и вам нетрудно будет мне повиноваться. Я вынужден несколько ограничить вашу свободу, пока мы живем в Кэргиллах-Корте, а мы вскоре отсюда уедем, поскольку этого требуют некие события, произошедшие после нашего приезда. Вы должны пообещать мне, поклявшись честью, никогда не входить в дом с черного хода, не бывать в комнатах, непосредственно к нему примыкающих, и предоставить их лакеям, ограничив свое пребывание в доме комнатами, куда можно попасть только через парадный вход. Я требую также, чтобы вы никогда не пытались проникнуть в тот маленький садик, обнесенный высокими стенами. Не вздумайте проскользнуть туда или даже просто заглянуть; не пытайтесь открыть дверь, что ведет в коридор, разделяющий парадную и заднюю половины дома. Это не шутка и не причуда; я совершенно убежден в том, что, не последовав моим предписаниям, вы подвергнете себя и меня опасности и обречете нас на самую злую участь. Я не властен посвятить вас в какие-либо подробности. Обещайте же поступить, как я приказываю, если уповаете на мир в этой жизни и милосердие Господне в будущей.

Я поклялась, как он требовал, и он принял мою клятву с явным облегчением. К нему вернулась прежняя веселость и легкость характера, но меня еще долго терзало воспоминание о странной сцене, которую я только что описала.

Прошло более месяца без всяких достопамятных событий, но мне не суждено было покинуть Кэргиллах, не пережив приключений. Однажды, решив ясным, солнечным днем побродить по ближайшему лесу, я вбежала к себе за мантильей и шляпой. Войдя в комнату, я, к своему немалому удивлению и испугу, обнаружила, что в ней кто-то есть. У камина, почти напротив двери, в большом старинном кресле сидела незнакомая дама. На вид ей было не менее сорока пяти лет, одета она была, как подобает ее возрасту, в изящный шелковый костюм с цветочным узором, шею и запястья украшало множество дорогих ожерелий и брелоков, пальцы унизывали перстни. Однако наряд, при всей его пышности, не казался кричащим или вульгарным. Впрочем, самой заметной деталью ее облика были не

черты, красивые и не лишённые приятности, а глаза, зрачки которых затягивала белая пленка катаракты, — дама явно была совершенно слепа. Меня столь поразило ее непонятное, едва ли не призрачное явление, что я на несколько секунд лишилась дара речи.

— Мадам, — наконец произнесла я, — здесь какая-то ошибка, это моя спальня.

— Вот еще что придумала! — оборвала меня незнакомка. — Твоя спальня! Где лорд Гленфаллен?

— Он внизу, мадам, — ответила я, — и полагаю, будет чрезвычайно удивлен, обнаружив вас здесь.

— Быть такого не может, — откликнулась она. — Изволь молчать о том, чего не знаешь. Пригласи его сюда. Да поживее, дерзкая девчонка!

Строгая дама внушала мне страх, однако в ее голосе звучали такие нотки надменности и превосходства, что, вспомнив о своем высоком титуле, я поневоле стала испытывать раздражение.

— Знаете ли вы, мадам, с кем говорите? — спросила я.

— Не знаю и знать не хочу, — тотчас ответила она, — но полагаю, с одной из горничных. Поэтому я повторяю: немедленно позови сюда лорда Гленфаллена, а не то лишишься места.

— В таком случае должна сообщить вам, мадам, что я леди Гленфаллен, — сказала я.

— Лжешь, мерзавка! — вскричала она так, что я невольно отпрянула, но она, метнувшись ко мне, в ярости схватила меня за плечи и принялась трясти, безостановочно приговаривая: «Ты лжешь, лжешь!» — с искаженным от бешенства и злобы лицом. Внезапность, с которой она на меня накинулась, и явно охвативший ее гнев привели меня в ужас, и я, вырвавшись, громко позвала на помощь. В бессильной ярости потрясая сжатыми кулаками, слепая продолжала осыпать меня бранью, пока на устах у нее не выступила пена. Наконец, услышав шаги лорда Гленфаллена, взбегавшего по лестнице, я бросилась прочь из спальни. Пробегая мимо него, я заметила, что он бледен как полотно, и успела расслышать обращенные ко мне слова:

— Надеюсь, этот демон не причинил вам вреда?

Я нашла в себе силы ответить, уж и не помню как; он вбежал в комнату и тотчас запер дверь изнутри. Не имею представления о том, что там произошло, но слышала ожесточенные громкие препирательства.

Мне почудилось, будто до меня донесся женский голос:

— Пусть только мне попадется!

Впрочем, я не уверена, хорошо ли я расслышала. Однако моему воспаленному воображению эта короткая фраза показалась чрезвычайно зловещей и угрожающей.

Буря в конце концов стихла, хотя до того и продолжалась не менее двух часов. Вернулся лорд Гленфаллен, побледневший и взволнованный.

— Эта несчастная, — сказал он, — лишилась рассудка. Полагаю, она в приступе безумия накинулась на вас с какими-то неистовыми, бессвязными речами. Но вам нечего более опасаться: мне пока удалось привести ее в чувство. Надеюсь, она вас не ранила?

— Нет, — ответила я, — но несказанно напугала.

— Что ж, в будущем она вам досаждать не станет, и, ручаюсь, ни вы, ни она после всего, что произошло между вами, более не станете искать встречи.

Это происшествие, столь неожиданное, неприятное и таинственное, вызвавшее множество мучительных догадок, дало мне пищу для самых тягостных размышлений.

Все мои попытки как-то узнать правду были тщетны: лорд Гленфаллен упорно избегал говорить об этом странном случае, ничего не объяснял мне и наконец не допускающим возражений тоном приказал впредь не упоминать о нем в его присутствии. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как довольствоваться тем, что я видела собственными глазами, и уповать на то, что время рано или поздно даст ответ на вопросы, терзавшие меня с того достопамятного дня.

Постепенно нрав и расположение духа лорда Гленфаллена изменились самым печальным образом; он сделался молчалив и рассеян и стал обходиться со мною резко и даже грубо. Казалось, его снедает какая-то мучительная тревога, гнетет уныние, лишаящее его привычной бодрости.

Вскоре я осознала, что вся его прежняя веселость — лишь маска, которую он неизменно носил в свете, а вовсе не следствие душевного здоровья и природной бодрости. День за днем я убеждалась, что добродушие и легкость нрава, которыми я в нем восхищалась, были немногим более чем притворство, и, к моему неописуемому огорчению, любезный, веселый и открытый аристократ, на протяжении многих месяцев добивавшийся моего внимания и осыпавший меня комплиментами, внезапно превратился в мрачного, унылого и чрезвычайно эгоистичного человека. Я долго скрывала от самой себя эту печальную истину, однако в конце концов не могла более обманываться и призналась себе, что муж более меня не любит и даже не стремится утаить свое охлаждение.

Однажды утром, после завтрака, лорд Гленфаллен некоторое время ходил по комнате, погруженный в какие-то мрачные размышления. Неожиданно он остановился и, обернувшись ко мне, воскликнул:

— Да-да, как же я раньше не догадался! Мы должны уехать за границу и жить на континенте, а если и это не поможет, попробовать более действенное средство. Леди Гленфаллен, мои дела весьма и весьма запутанны. Вы знаете, что жене надлежит делить участь мужа в горе и в радости, но если вы предпочтете остаться здесь, в Кэргиллахе, я не буду возражать. Мне только не хотелось бы, чтобы вы появлялись в обществе без надлежащей пышности и великолепия, подобающего вашему титулу; кроме того, это разобьет сердце вашей бедной матери, — прибавил он с мрачной усмешкой. — А потому выбирайте — Кэргиллах или Франция. Я намерен уехать через неделю, если успею завершить все приготовления, поэтому за это время вам предстоит принять решение.

Затем он вышел из комнаты, и спустя несколько минут я увидела, как он проскакал мимо окна в сопровождении верхового слуги. Тотчас лакей передал мне, что его светлость вернется только завтра.

Меня одолевали сомнения, как поступить и стоит ли уехать на континент, приняв его неожиданное предложение. Я отдавала себе отчет в том, что, согласившись, я бы подвергла себя слишком большому риску. Ведь в Кэргиллахе меня поддерживало сознание того, что, столкнувшись с насилием или недостойным поведением супруга, я всегда могла рассчитывать на поддержку своей семьи, тогда как, оказавшись во Франции, я принуждена буду прервать с нею всякие отношения и буду предоставлена своему мрачному жребию.

Остаться в одиночестве в Кэргиллахе, где я, возможно, подвергнусь таинственным опасностям, казалось мне, пожалуй, более разумным, чем уехать на континент. Однако меня охватывал какой-то смутный страх оттого, что этот выбор мне навязывали, заставляя принять одну из возможностей, если я не хочу окончательного разрыва с лордом Гленфалленом. Не в силах побороть эти сомнения и грустные мысли, я наконец заснула.

Несколько часов я проспала беспокойным сном, как вдруг кто-то разбудил меня, грубо тряся за плечо. На моем ночном столике горела маленькая лампа, и при ее свете, к своему несказанному удивлению и ужасу, я узнала слепую, что так напугала меня несколько недель тому назад.

Я вскочила, отчаянно пытаюсь дотянуться до колокольчика и позвонить слугам, однако слепая проворно схватила меня за руку и проговорила:

— Не бойся, глупая! Если бы я хотела причинить тебе вред, я сделала бы это, пока ты спишь. Уж верно, будить тебя я бы не стала. Слушай меня внимательно и не бойся: я намерена сообщить тебе нечто важное, касающееся тебя столь же, сколь и меня. Ответь мне как перед Господом: лорд Гленфаллен обвенчался — и вправду обвенчался с тобою? Говори правду, не лги!

— Клянусь жизнью, что лорд Гленфаллен действительно обвенчался со мною в присутствии более ста свидетелей.

— Что ж, — отвечала она, — в таком случае до венчания ему следовало бы сказать тебе, что он женат и что я — его законная жена. Да ты дрожишь! Хватит, нечего бояться. Я не собираюсь причинять тебе вред. Лучше послушай меня хорошенько: ты ему не жена. Когда я разглашу правду, ты перестанешь быть его женой перед Богом и людьми. К завтрашнему дню ты должна покинуть этот дом. Объяви перед всем миром, что у твоего мужа есть другая жена, схорони себя навеки в монастыре и предай его правосудию — пусть оно свершится над ним, как он того заслужил. Если удержишься в этом доме хоть на день, пожнешь горькие плоды своего греха.

С этими словами она вышла из спальни, и я осталась в одиночестве, забыв о сне.

Ее полубезумные речи дали пищу моим худшим, страшным опасениям, однако я по-прежнему испытывала какие-то сомнения. У меня не было доказательств, что слепая сказала правду.

Конечно, я могла бы уговорить себя, что все это бред, порожденный больным сознанием. Однако я невольно вспомнила о чрезмерной таинственности, которая отличала поведение лорда Гленфаллена, о том, как настойчиво он воспрещал мне доступ в задние комнаты дома, без сомнения, для того, чтобы я не столкнулась со слепой, о том, сколь сильное влияние и даже власть имела над ним слепая — недаром она продолжала жить там, где он менее всего хотел ее видеть... Да и поступала она вопреки его желаниям, нарушая его указания. Сопоставив ее признание с этими обстоятельствами, я невольно почувствовала, что в ее утверждениях, сколь бы безумными они ни казались, было какое-то пугающее правдоподобие.

И все же я не в силах была смириться с неизбежным. Не имея безусловных доказательств, молодому человеку трудно, почти невозможно свыкнуться с мыслью о том, что его обманул кто-то, вызывавший его безграничное доверие. К тому же мои сомнения рассеялись, стоило мне вспомнить, как лорд Гленфаллен уверял меня в том, что слепая безумна, а ее поведение не могло убедить меня в обратном. Таким образом, я уверилась, что слушала бред умалишенной, и забыла свои прежние опасения.

Я решила, ничего не скрывая, в точности передать лорду Гленфаллену содержание ночного разговора и по его словам и тону либо убедиться в справедливости своих подозрений, либо отринуть их окончательно. В таких размышлениях провела я остаток ночи, не сомкнув глаз, и каждое мгновение мне мнилось, будто я вижу тень моей страшной гостьи или слышу ее шаги, и меня охватывал ни с чем не сравнимый ужас.

На лице слепой, хотя черты ее некогда явно были красивы и на первый взгляд казались не лишенными приятности, лежала печать порочных страстей, имевших над нею полную власть. По временам они искажались почти безграничной животной яростью, какую я не в силах была вообразить ни в одном разумном существе, а когда она начинала судорожно выкатывать незрячие глаза, то ее и в самом деле можно было принять за демона.

Нетрудно представить себе чувства, которые я испытывала при мысли, что, если ей взбредет в голову вернуться, я окажусь беззащитна перед ее буйством, а возможно, и безумием. Ведь всего несколько часов тому назад слепая угрожала мне, и хотя ее слова сами по себе не так уж пугали, мои записки не доносят до читателя тех устрашающих гримас и тех угрожающих жестов, с которыми они были произнесены.

Поверите ли вы мне, если я признаюсь, что не могла заставить себя подняться с постели, чтобы запереть дверь, ибо всюду мне мерещилась ее зловеющая тень — вот она притаилась в темном углу, вот выглядывает из-за оконного занавеса, — я была еще сущим ребенком.

Наступило утро, а утром вернулся лорд Гленфаллен. Я не знала, да и не хотела знать, где он пробыл весь прошлый день, я целиком была поглощена страхами и подозрениями, с новой силой овладевшими мной прошлой ночью. Как обычно, он пребывал в мрачном настроении, был погружен в свои мысли и, как я опасалась, едва ли был способен терпеливо выслушать то, что я намеревалась ему сообщить, безразлично, справедливы или нет были обвинения в двоеженстве.

Однако я решила не упускать этой возможности, пока лорд Гленфаллен оставался со мной в комнате, и наконец, собравшись с духом, изложила суть своих опасений.

— Милорд, — проговорила я после долгого молчания, призвав все свое мужество, — милорд, я хотела бы сказать вам несколько слов о деле чрезвычайно важном, касающемся нас обоих.

Я не сводила с него глаз, пытаясь понять, насколько взволновала его моя речь, однако его лицо оставалось непроницаемым.

— Что ж, моя дорогая, — сказал он, — это весьма мрачное начало, и оно, без сомнения, не предвещает ничего хорошего. Прошу вас, без обиняков переходите к делу.

Он взял стул и сел почти напротив меня.

— Милорд, прошлой ночью я снова видела ту, что так напугала меня совсем недавно, — я видела слепую.

Я по-прежнему пристально глядела ему в лицо и заметила, как он побледнел. Помедлив минуту, он откликнулся:

— Неужели вы, мадам, совершенно забыли о моих ясных и точных приказаниях или пренебрегли ими и позволили себе войти в ту часть дома, доступ в которую я вам запретил? Отвечайте мне немедленно! — в ярости добавил он.

— Милорд, — ответила я, — я не забыла о ваших приказаниях, если так вам угодно их именовать, и беспрекословно подчинялась им. Пройшей ночью я спала у себя в комнате, как вдруг меня разбудила дама, о которой я уже упоминала. Она сама заговорила со мной. Как она пробралась ко мне в спальню, не имею представления.

— О, надо об этом позаботиться, — задумчиво произнес он, словно размышляя вслух. — Пожалуйста, сообщите мне, — поспешно добавил он, — что она вам сказала? Ведь то, что вы намерены мне открыть, несомненно, как-то связано с ее появлением.

— Ваша милость не ошиблись, — подтвердила я. — Она сделала столь странное и

необычайное признание, что я не вправе утаить его от вас. Она сказала мне, милорд, что, когда вы обвенчались со мною, вы уже были женаты — женаты на ней.

Лицо лорда Гленфаллена залила пепельная, едва ли не смертельная бледность. Он попытался было что-то сказать, но тщетно, голос ему не повиновался, и, внезапно отвернувшись от меня, он отошел к окну. Ужас и смятение, овладевшие Аэндорской волшебницей[47], когда ее заклинания неожиданно вызвали тень мертвеца, — ничто в сравнении с чувствами, охватившими меня, когда мой супруг при мне почти признал свою вину, которую я до сих пор пыталась отрицать.

Несколько мгновений мы молчали, и трудно сказать, кто из нас страдал больше — я или лорд Гленфаллен.

Но к лорду Гленфаллену быстро вернулось самообладание. Он снова подошел к столу, сел и произнес:

— То, что вы поведали, столь поразило меня, вы предъявили мне столь беспочвенное обвинение, хотя от вас я никак не ожидал неблагодарности и предательства, что ваше откровение на время лишило меня дара речи. Дама, о которой вы говорили, все же имеет оправдание, ибо она безумна, как я уже упоминал раньше. Вам следовало бы вспомнить об этом, прежде чем вы заручитесь неопровержимыми доказательствами моего бесчестия из уст буйнопомешанной. Повторяю, я говорю с вами об этом в последний раз, и клянусь всевидящим Господом, перед судом коего предстану, и упованием на милосердие в судный день, что сие обвинение есть клевета, необоснованная и нелепая. Я готов бросить вызов любому, кто осмелится запятнать мою честь. А поскольку я никогда не судил о вашем характере и нравственности, руководствуясь мнением безумцев, то, полагаю, вправе рассчитывать на то, что вы проявите подобную же чуткость ко мне и никогда более не посмеете повторять в моем присутствии ваши оскорбительные подозрения или грубую и постыдную клевету глупцов. Я тотчас же сообщу достойной даме, измыслившей весьма оригинальную небылицу, что я об этом думаю. До свидания.

С этими словами он вышел из комнаты, а я вновь осталась наедине со своими сомнениями, терзаемая самыми мучительными, тягостными подозрениями.

У меня появились основания думать, что лорд Гленфаллен дал волю своему гневу, яростно обрушив на безумную слепую не только упреки и оскорбления, ибо старая Марта, очень меня полюбившая, прислуживая мне в спальне, сказала, что боится, вдруг господин жестоко обошелся с бедной слепой голландкой. Марта уверяла, что слышала такие отчаянные, пронзительные крики, словно душа ее расстается с телом, но попросила не выдавать ее и в особенности не упоминать об этом в присутствии господина.

— Откуда вам известно, что она голландка? — торопливо осведомилась я, поскольку горела желанием узнать хоть что-нибудь, проливающее свет на таинственную историю слепой, судя по всему, решившей во что бы то ни стало разрушить мой брак.

— Потому, миледи, — ответила Марта, — что господин частенько бранит ее голландской ведьмой и поносит по-другому, так что мне и сказать-то перед вами стыдно. Но я точно знаю, что она не англичанка и не ирландка, ведь между собой они говорят на какой-то странной тарабарщине, и быстро, не уследить. Впрочем, миледи, мне о ней и упоминать заказано, а не то, мол, откажут от места. Хотя теперь, когда вы и сами ее видели, в этом, думаю, греха нет.

— И давно эта дама здесь живет? — продолжала расспрашивать я.

— Она появилась на следующее же утро после вашего приезда, еще засветло, — сказала

Марта. — Но молю вас, не задавайте мне более вопросов, а не то хозяин живо выбросит меня на улицу за то, что осмелилась о ней говорить, тем более с вами, миледи.

Я не стала дольше терзать бедную старушку расспросами, понимая, как не хочется ей об этом говорить.

Нетрудно поверить, что, поскольку я располагала лишь весьма сомнительными сведениями, поскольку мой муж принес торжественную клятву, опровергая возводимые на него обвинения, и поскольку я едва могла доверять своей осведомительнице, я не в силах была предпринять никаких серьезных мер. И хотя странная женщина, дважды вторгавшаяся непостижимым образом в мою спальню, и внушала мне определенные опасения, она, даже в моих глазах, не представляла собой настолько серьезной угрозы, чтобы заставить меня уехать из Кэргиллах-Корта.

Спустя несколько дней после описанной мною сцены лорд Гленфаллен, по своему обыкновению, рано удалился в свой кабинет, предоставив мне развлекаться в гостиной, как мне заблагорассудится.

Неудивительно, что я снова и снова мысленно возвращалась к событиям, невольной участницей которых стала.

Предмет моих размышлений, мое одиночество, тишина, поздний час и подавленное состояние духа, в котором я часто пребывала в последнее время, вызвали то нервное возбуждение, что целиком отдает нас во власть воображению.

Чтобы хоть как-то успокоиться, я попыталась направить свои мысли в более приятное русло и тут услышала — или мне только почудилось? — как совсем рядом странный, полунасмешливый голос произнес: «Миледи, у вас на шее кровь».

Иллюзия была настолько полной, что я вскочила и невольно схватилась за горло.

Я обернулась, чтобы разглядеть того, кто произнес эти загадочные слова, но тщетно — за моей спиной никого не было.

Я направилась к выходу и выглянула в коридор, едва не лишившись чувств при мысли, что там могло притаиться какое-то страшное бесформенное существо и сейчас оно набросится на меня.

Наконец, убедившись, что в коридоре пусто, я громко произнесла, чтобы вернуть себе самообладание:

— В последнее время я изводила себя, мои нервы не выдерживают напряжения.

Я позвонила и, когда на мой зов явилась старая Марта, отправилась к себе в спальню.

Пока служанка, как обычно, ставила на ночной столик лампу — я привыкла не тушить лампу всю ночь, — я раздевалась перед большим зеркалом, высотой не менее шести футов, занимавшим значительную часть стены, на которой оно крепилось. Это зеркало заменяло целую панель в обшивке стены напротив моей постели.

Я не простояла у зеркала и мгновения, как вдруг зеркало скрыло от меня какое-то подобие черной гробовой пелены.

— О боже, — в ужасе вскричала я, — я снова ее видела, Марта, это она, черная завеса!

— Господь да смилуется над нами, — пробормотала Марта, затрепетав и дрожащей рукой творя крестное знамение. — Не иначе как нагрянет какое-то несчастье.

— Нет-нет, Марта! — прервала ее я, тотчас собравшись с духом, ибо хотя я и была нервна от природы, но не суеверна. — Я не верю в зловещие предзнаменования. Вы же знаете, что я и прежде видела эту черную пелену, но ничего скверного тогда не случилось.

— На следующее утро приехала голландка, — возразила она.

— Едва ли ее появление заслуживало столь жуткого предостережения судьбы, — ответила я.

— Странная она, миледи, — сказала Марта, — и она еще не уехала, не забывайте.

— Что ж, Марта, — откликнулась я, — я недостаточно хитроумна, чтобы изменить ваши взгляды, и не склонна менять свои собственные, а потому и говорить об этом не будем. Спокойной ночи.

Тут Марта вышла, а я осталась наедине со своими размышлениями.

Протомившись почти час без сна, я наконец забылась какой-то дремотой, но мое воображение по-прежнему без устали порождало необычайные галлюцинации, поскольку от беспокойного сна меня пробудил голос, который произнес у меня над ухом: «Миледи, у вас на шее кровь».

Вслед за этими словами тотчас раздался взрыв смеха.

Дрожа от ужаса, я проснулась и слышала, как в комнату вошел мой муж. Даже это было мне облегчением.

Однако как ни испугало меня мое разыгравшееся воображение, я все же сочла за лучшее притвориться спящей, промолчать и не пытаться вовлечь в разговор мужа, так как вполне могла вообразить его настроение и догадывалась, что он меня ничем не утешит.

Лорд Гленфаллен отправился в свою гардеробную, располагавшуюся справа от постели. Дверь за собою он не закрыл, я хорошо могла разглядеть его на диване и вскоре по его глубокому и ровному дыханию поняла, что он заснул.

Когда сон не приходит к нам, мы склонны испытывать немалое, хотя и не объяснимое рационально раздражение, осознавая, что кто-то рядом с нами наслаждается благом, в котором нам отказано. По крайней мере, я всегда ощущала в часы бессонницы подобную зависть, и с особенной силой — в ту ночь.

Множество тревожных образов осаждали мое возбужденное сознание, всякий, даже давно знакомый предмет, на который падал мой взгляд, принимал странный, призрачный облик. Колеблющиеся тени, отбрасываемые мерцающим светом лампы, словно превращались в причудливых, сверхъестественных существ, и стоило мне взглянуть на спящего мужа, как начинало чудиться, будто его черты до неузнаваемости искажают демонические, поистине ужасные судороги.

Старинные часы равнодушно отбивали время, и с каждой минутой, если такое вообще возможно, мне все менее хотелось спать.

Стрелки часов приблизились к четырем, когда мой без устали блуждающий взгляд случайно упал на большое зеркало, закрепленное в обшивке стены, как я уже упоминала, прямо напротив изножья постели. Я прекрасно могла разглядеть его сквозь щель между занавесками полога. Пристально смотря в зеркало, я заметила, как его гладкая поверхность медленно смещается. Я не шевелилась и не сводила с него глаз: сомнений не было, зеркало, точно само собой, медленно сдвинулось, открыв в стене проем шириной с обычную дверь, и в этом темном проеме показалась какая-то фигура, которую мне не удалось рассмотреть в неверном свете лампы.

Таинственный и зловещий гость осторожно перешагнул порог, настолько бесшумно, что если бы я не видела его своими глазами, то не заметила бы, как он проник в комнату. Привидение окутывало некое подобие шерстяной ночной рубашки, а голову его охватывал туго повязанный белый платок. Однако, несмотря на этот странный наряд, я с легкостью узнала в нем слепую, внушавшую мне такой ужас.

Склонившись почти до земли, она на несколько мгновений замерла, безусловно пытаюсь расслышать, нет ли каких подозрительных звуков.

Явно удовлетворенная своими наблюдениями, она снова стала бесшумно пробираться к туалетному столику моего мужа — тяжелому столику красного дерева. На ощупь добравшись до столика, она снова замерла, внимательно вслушиваясь в тишину, а затем бесшумно выдвинула один из ящиков, некоторое время рылась в нем и наконец вытащила несесер с бритвами. Она открыла его и, проверив на тыльной стороне ладони, остры ли бритвы, быстро выбрала одну и крепко сжала ее в руке. Она снова склонилась почти до земли, снова прислушалась и, свободной рукой ощупывая попадавшиеся ей предметы, стала пробираться в гардеробную, где спал глубоким сном лорд Гленфаллен.

Меня словно сковали какие-то дьявольские, невыносимо страшные чары. Я не в силах была и пальцем пошевелить, не в силах была позвать на помощь, не в силах была даже дышать и, хотя я понимала, что слепая в любую минуту может убить спящего, не могла закрыть глаза, чтобы не стать свидетельницей ужасного деяния, которое я не властна была предотвратить.

Я увидела, как слепая приближается к спящему, как осторожно проводит свободной рукой по его одежде, чтобы удостовериться, кто перед нею, и как спустя несколько мгновений поворачивается и снова идет ко мне в спальню; здесь она снова остановилась и прислушалась.

У меня более не осталось сомнений, что бритва предназначена для моего горла, однако колдовские чары, лишившие меня способности сопротивляться, по-прежнему подчиняли себе мою волю.

Я чувствовала, что моя жизнь зависит от простейшего физического усилия, но не могла даже пошевелиться или позвать на помощь лорда Гленфаллена.

Большими неслышными шагами убийца уже приблизилась к моей постели. Сердце мое, казалось, застыло, как льдинка. Лево́й, свободной рукой она нащупала подушку, вот ее рука уже медленно скользнула к моей голове, в одно мгновение с быстротой молнии вцепилась мне в волосы, а правой рукой она полоснула меня по горлу.

Слепая чуть-чуть не рассчитала удар, и это спасло меня от неминуемой смерти. Удар пришелся по подушке, и лезвие лишь слегка оцарапало мне шею. В тот же миг, сама не зная как, я очутилась по другую сторону постели и пронзительно закричала, призывая на помощь, однако злодейка твердо решила довести свой замысел до конца.

Хватаясь за полог, она в один миг обошла постель и бросилась ко мне. Я дернула за дверную ручку в надежде вырваться в коридор, но дверь оказалась заперта. Никакими усилиями я не сумела бы ее открыть. Отпрянув в ужасе, я забилась в угол. Теперь нас разделяло расстояние вытянутой руки. Ее пальцы касались моего лица.

Я уже зажмурила глаза, более не надеясь открыть их, но тут чудовище без чувств рухнуло к моим ногам, сраженное нанесенным сзади сильным ударом. В тот же миг отворилась дверь, и в спальню бросились слуги, привлеченные моими криками.

Что произошло дальше, я не помню, так как потеряла сознание. Один обморок сменялся другим, столь долгим и мучительным, что врачи опасались за мою жизнь.

Однако примерно в десять часов поутру я забылась сном, глубоким и живительным, и спала, пока около двух часов меня не разбудили, чтобы я под присягой дала показания судье, назначенному заниматься этим делом.

И я, и лорд Гленфаллен, как полагается, дали показания, и теперь слепой суждено было

предстать перед судом.

Никогда не забуду, как проходил допрос обвиняемой и свидетелей.

Ее привели в зал суда в сопровождении двух конвойных. На ней была та же фланелевая ночная рубашка, что и прошлой ночью, разорванная и запачканная, а кое-где запятнанная кровью из глубокой раны на голове. Белую косынку она потеряла в потасовке, и ее длинные, спутанные, тронутые сединой волосы в беспорядке падали на мертвенно-бледное, безумное лицо.

Однако она держалась совершенно невозмутимо и хладнокровно, выразив лишь сожаление, что не сумела осуществить свое намерение, которое вовсе не пыталась скрыть.

Когда судья потребовал, чтобы она назвала свое имя, она произнесла:

— Графиня Гленфаллен! — и отказалась именовать себя иначе.

— Эту женщину зовут Флора ван Кемп, — объявил лорд Гленфаллен.

— Да-да, меня и вправду так когда-то звали! — вскричала слепая и тотчас же разразилась яростным потоком слов на непонятном языке.

— Есть в зале судья? — продолжала она. — Я жена лорда Гленфаллена, я докажу это, — запишите мои слова! Пусть меня повесят или сожгут заживо, я согласна, лишь бы он получил по заслугам. Я и в самом деле пыталась убить эту девчонку, но это он подговорил меня ее убить; две жены — это многовато, или я ее убью, или она меня отправит на виселицу. Послушайте, что я вам скажу!

Тут ее перебил лорд Гленфаллен.

— Думаю, ваша честь, — сказал он, обращаясь к судье, — что лучше нам перейти к делу и не трогать время на безумные обвинения, выдвигаемые против меня этой несчастной. Если она отказывается отвечать на ваши вопросы, почему бы вам не выслушать мои показания?

— Неужели ты готов лжесвидетельствовать под присягой, чтобы меня погубить, подлый убийца? — пронзительно вскричала слепая. — Сэр, сэр, сэр, — повторяла она, как одержимая, обращаясь к судье, — я могу изобличить его! Это он приказал мне убить девчонку, а когда понял, что мне не удалось это сделать, напал на меня со спины и оглушил, а теперь намерен лжесвидетельствовать против меня под присягой и погубить! Записывайте все, что я скажу!

— Если в ваши намерения входит признаться в преступлении, в совершении которого вас обвиняют, вы имеете право, предоставив веские доказательства, обвинять, кого считаете нужным.

— Доказательства? Нет у меня доказательств, кроме собственной персоны! — возразила слепая. — Я клянусь, что говорю правду, я во всем сознаюсь, запишите мои показания, — на виселице нас так и вздернут бок о бок, мой храбрый лорд, и все это твоих рук дело, муженек!

Она произнесла эту тираду и рассмеялась низким, глумливым, издевательским смехом, и слышать такой смех из уст приговариваемой к смерти было поистине страшно.

— Сейчас я не намерен выслушивать ничего, кроме точных ответов на мои вопросы, касающиеся этого дела, — прервал ее судья.

— Что ж, тогда вы ничего не услышите, — угрюмо возразила она, и ни уговоры, ни угрозы более не могли заставить ее заговорить.

Затем под присягой дали показания лорд Гленфаллен, я и слуги, вбежавшие в комнату, когда я позвала на помощь.

Потом судья провозгласил, что обвиняемую ожидает предварительное заключение и что

из зала суда ее препроводят непосредственно в тюрьму, куда она и была доставлена в карете лорда Гленфаллена, поскольку его светлость отнюдь не мог равнодушно смотреть на то, как жадно ловит толпа зевак безумные и яростные обвинения слепой в его адрес. Бог знает, что мог вообразить любой случайный прохожий между Кэргиллах-Кортом и местом ее заключения, услышав, как она порочит одно из самых громких имен в Ирландии.

Все время, прошедшее между взятием слепой под стражу и слушанием дела, лорд Гленфаллен невыносимо страдал, терзаемый мрачными видениями. Он почти не спал, а если ему и удавалось заснуть, то сновидения оказывались для него источником кошмаров и новых мук. Просыпаясь же, он ощущал, что обрекает себя на пытку еще более ужасную, чем кошмарные образы беспокойного сна, если такое вообще было возможно.

Лорд Гленфаллен обыкновенно отдыхал, если лежать неподвижно означает отдыхать, в своей гардеробной, и потому я, значительно чаще, чем мне того хотелось, замечала, какие страшные муки совести он испытывал. Его страдания часто заканчивались вспышками безумия, предвещавшими скорое беспамятство и окончательную утрату рассудка. Он то вдруг принимался повторять, что хочет бежать из страны, забрав с собою всех свидетелей ужасной сцены, на которой зиждилось обвинение, то начинал горько сетовать на то, что нанесенный им удар не пресек жизнь слепой.

Однако в назначенный день собрались присяжные, и мы с лордом Гленфалленом были приглашены в суд для дачи показаний.

Судья огласил суть дела, и на отделенную барьером скамью привели обвиняемую.

Процесс вызвал немалое любопытство, и потому зал переполняли зеваки.

Однако преступница, не потрудившись даже выслушать обвинительное заключение, признала свою вину, и сколько суд ни убеждал ее взять назад это заявление, она осталась непреклонна.

После многих тщетных попыток члены суда наконец сдались, предоставив преступницу ее судьбе, и в соответствии с заведенным порядком огласили приговор.

По оглашении приговора надзиратели собрались было увести осужденную, как вдруг она произнесла тихим, но твердым голосом:

— Одно слово, одно только слово, ваша честь! Лорд Гленфаллен в зале?

Когда ей ответили, что да, она повысила голос и громко, угрожающим тоном продолжила:

— Хардресс, граф Гленфаллен, здесь, в зале суда, я обвиняю тебя в двух преступлениях: в том, что ты женился во второй раз, уже будучи женатым, и в том, что ты заставил меня покушаться на убийство, за которое меня казнят. Возьмите его под стражу, наденьте на него кандалы, посадите его на скамью подсудимых!

Общий смех в зале заглушил ее слова, которые судья расценил как клеветнические измышления, приказав осужденной замолчать.

— Так, значит, вы его не арестуете? — спросила она. — Не станете его допрашивать? Просто отпустите его?

Члены суда объявили, что его, разумеется, «отпустят», и после этого снова велели увести осужденную в тюрьму.

Однако, прежде чем конвоиры успели выполнить этот приказ, она воздела руки и издала пронзительный вопль, исполненный нечеловеческой злобы и отчаяния, — под стать душе, осужденной на вечные муки там, где умирает всякая надежда.

Я до сих пор слышу этот крик, спустя месяцы после того, как ее голос умолк навеки.

Несчастную казнили в соответствии с объявленным приговором.

В течение нескольких дней после ее казни лорд Гленфаллен, если это возможно, страдал еще более, чем прежде. Его бессвязные, полубезумные речи, в которых он почти открыто признавал свою вину, вкупе с последними обстоятельствами нашей жизни, столь убедительно свидетельствовали против него, что я решилась написать отцу, умоляя его не оставлять меня во власти мужа и немедля приехать за мной в Кэргиллах, а потом начать бракоразводный процесс.

В таком положении мое существование сделалось почти невыносимым, и потому, что муж вызывал у меня ужасные подозрения, и потому, что я ясно сознавала: если не оказать ему помощь, и притом как можно скорее, он лишится рассудка. Поэтому я с неопишуемым нетерпением ожидала приезда отца или по крайней мере письма, возвещающего о его приезде.

Прошла примерно неделя со дня казни слепой, когда лорд Гленфаллен однажды утром заговорил со мной необычайно веселым тоном:

— Фанни, только теперь в моих силах объяснить вам все, что до сих пор представлялось вам подозрительным или загадочным в моем поведении. Приходите после завтрака ко мне в кабинет, и, надеюсь, я все сумею вам открыть.

Это приглашение доставило мне бóльшую радость, чем все, что я пережила за последние месяцы. Некое таинственное событие совершенно умиротворило больной дух моего мужа, и я вполне верила, что в ходе обещанного объяснения он предстанет передо мною оклеветанной, невинной жертвой.

Исполненная надежд, я в назначенный час направилась к нему в кабинет. Когда я вошла, он увлеченно что-то писал и, мельком взглянув на меня, предложил мне сесть.

Взяв стул, как он указал, я села и стала терпеливо ждать, пока он освободится, а он тем временем заканчивал, складывал, надписывал и запечатывал письмо. Наконец, положив его на стол адресом вниз, он обратился ко мне со следующими словами:

— Моя дорогая Фанни, знаю, что нередко представлялся вам странным, резким и даже грубым. Не пройдет и недели, как я докажу вам необходимость подобного поведения и сумею убедить вас, что не в моей власти было поступить иначе. Я вполне отдаю себе отчет в том, что многие мои поступки давали повод для самых мучительных и тяжких подозрений, которые вы однажды с большим тактом мне открыли. Я получил два письма от самого надежного корреспондента, содержащие сведения, которые помогут мне опровергнуть обвинения в любых преступлениях и убедить в моей невинности даже самого предубежденного недоброжелателя. Сегодня с утренней почтой я ожидал третье письмо, в котором мне обещали прислать документы, неопровержимо свидетельствующие о моей невинности, однако по недосмотру, или просто потому, что слуга не успел вовремя взять его вместе с газетами, или из-за какой-то другой задержки, вопреки моим ожиданиям, его не доставили. Когда вы вошли, я как раз заканчивал послание к этому корреспонденту, и если мне удастся как-то ускорить дело, то не пройдет и двух дней, как нарочный привезет мне ответ. Я с тревогой решал для себя дилемму, что предпочесть — не полностью восстановить в ваших глазах свою честь, предъявив вам первые два письма, или ждать до тех пор, пока я с торжеством не оправдаюсь перед вами всецело. Вполне естественно, что я выбрал второе. Впрочем, в соседней комнате пребывает некое лицо, которое поможет восстановить мое доброе имя, — прошу вас, подождите немного.

С этими словами он встал и вышел из кабинета в смежную маленькую спальню. Он

отпер замок, приоткрыл дверь, обращаясь к кому-то внутри, произнес: «Не бойтесь, это я!» — проскользнул в спальню, осторожно закрыл за собой дверь и запер ее изнутри.

До меня тотчас же донеслись обрывки оживленного разговора. Снедаемая любопытством, кому же писал лорд Гленфаллен, я подавила слабые угрызения совести и решила во что бы то ни стало узнать тайну. Письмо по-прежнему лежало там, где мой муж его оставил, адресом вниз. Я перевернула его и прочла адрес.

Несколько мгновений я не могла поверить своим глазам, однако сомнений не было — на конверте крупными буквами красовалось: «Архангелу Гавриилу в небесах».

Я едва успела вернуть письмо на стол и несколько оправиться от потрясения, которое испытала, получив несомненное доказательство безумия лорда Гленфаллена, как дверь спальни отворилась, он снова вошел в кабинет и столь же тщательно закрыл за собою и запер дверь, как и в первый раз.

— Кто же таится у вас в спальне? — спросила я, изо всех сил пытаюсь сохранить самообладание.

— Может быть, вам не захочется ее видеть, по крайней мере некоторое время, — задумчиво произнес он, словно размышляя вслух.

— И кто же это? — повторила я.

— Что ж, — ответил он, — к чему скрывать? Слепая голландка. Я провел с ней все утро. Она так стремится вырваться, но вы же знаете, как странно она себя ведет, мне кажется, ей нельзя доверять.

В это мгновение сильный сквозняк с силой толкнул дверь, словно кто-то изнутри бросился на нее всем телом.

— Ха-ха-ха! Разве не слышите? — с диким хохотом вопрошал лорд Гленфаллен.

Еще раз жалобно взыв, ветер утих, а лорд Гленфаллен, внезапно посерьезнев, пожал плечами и пробормотал:

— Бедняга, с нею поступили скверно.

— Не стоит сейчас докучать ей расспросами, — сказала я как можно более беззаботным тоном, хотя в этот миг была близка к обмороку.

— Гм, может быть, вы и правы, — согласился он. — Что ж, приходите через час-другой или когда вам заблагорассудится — мы будем ждать вас здесь.

Он снова отпер дверь и, войдя в спальню с теми же предосторожностями, что и прежде, снова запер ее изнутри, и я, выбегая из кабинета, снова расслышала обрывки громкой, оживленной беседы.

Не могу и описать охватившие меня чувства: мои надежды воскресли было, чтобы через мгновение рухнуть. Свершилось то, чего я так боялась, — преступника постигло возмездие, лишив рассудка и возможности раскаяться в своих злодеяниях.

Не стану останавливаться подробно на тех часах, что последовали за моим разговором с лордом Гленфалленом, — они оказались настоящей пыткой. Однако мое одиночество нарушила Марта, вошедшая доложить, что прибыл некий джентльмен и желает меня видеть.

Я тотчас спустилась и, к моей великой радости, увидела своего отца, расположившегося в кресле у камина.

Его приезд объяснялся просто: обстоятельства, изложенные мною в письме, затрагивали честь семьи. Я, не теряя времени, сообщила ему о том, какой недуг поразил моего несчастного мужа.

Мой отец предложил приставить к безумцу слугу, чтобы он не причинил вреда себе или

окружающим.

Я позвонила и приказала прислать ко мне Эдварда Кука, доверенного слугу лорда Гленфаллена.

Кратко, но недвусмысленно я объяснила ему, какие услуги от него потребуются. В сопровождении Эдварда Кука мы с отцом немедля направились в кабинет моего мужа. Дверь в маленькую спальню была заперта, а в кабинете все оставалось по-прежнему.

Подойдя к двери в спальню, мы постучали, однако на наш зов никто не откликнулся.

Тогда мы попытались открыть дверь, но тщетно, дверь явно была заперта изнутри. Мы постучали громче, все так же тщетно.

Не на шутку встревожившись, я велела слуге взломать дверь, что он и сделал не без труда, после нескольких попыток, и тогда мы вошли в спальню.

Лорд Гленфаллен лежал на диване вниз лицом.

— Тише! — попросила я. — Не будем ему мешать.

Мы на мгновение замолчали.

— Да он же не шевелится, — возразил мой отец.

Нам стало не по себе: все мы боялись подойти ближе.

— Эдвард, — сказала я наконец, — поглядите, точно ли его светлость спит.

Слуга подошел к дивану, на котором лежал лорд Гленфаллен. Он осторожно приблизил ухо к его голове, чтобы расслышать дыхание, а потом обернулся к нам и произнес:

— Миледи, полагаю, вам лучше удалиться. Я совершенно уверен, что его светлость мертв.

— Я хочу увидеть его лицо! — воскликнула я в непередаваемом волнении. — Возможно, вы ошиблись.

Подчиняясь моему приказанию, слуга перевернул тело лорда Гленфаллена, и — о боже! — какое страшное зрелище предстало моим глазам!

Рубашка с кружевным жабо у него на груди побагровела от крови, широко растекшейся по дивану.

Голова, казалось, была откинута, однако на самом деле почти отделена от тела глубокой раной, зиявшей на горле. Бритву, которой она была нанесена, нашли тут же, под телом убитого.

Все было кончено: я так и не узнала начало истории, в трагический финал которой невольно оказалась вовлечена.

Обрушившиеся на меня тяжкие испытания оставили в моей душе глубокий след, направив мои помыслы туда, где нет ни печали, ни воздыхания.

Так завершается краткое повествование, главные события которого, по мнению многих, разыгрались в одном аристократическом семействе, и хотя действие его относится к уже довольно отдаленному прошлому, мы ручаемся, что нимало не исказили факты.

Гермини Каванах

ДАРБИ О'ГИЛЛ И ЛЕПРЕХАУН

Весть о том, что Дарби О'Гилл провел полгода у доброго народа, распространилась быстро, широко и едва ли не повсеместно.

Целая толпа немедленно собиралась вокруг Дарби на ярмарке, на соревнованиях по ирландскому хоккею или на рынке, припирала его к какой-нибудь удобной стенке, а потом мужчины, женщины и дети, в благоговейном удивлении, раскрыв рты и выпучив глаза, часами осыпали вопросами Дарби — смелого, напускавшего на себя таинственность.

Однако эти публичные выступления Дарби неизменно заканчивал одинаково:

— Никогда не связывайтесь, не якшайтесь и не водитесь с фэйри! Вот идете вы себе ночью по тропинке мимо какого-нибудь волшебного холма, вокруг ни души, и вдруг слышите скрипки, или волынки, или пение, мелодичное да благозвучное, или топот танцующих ножек, — так даже голову в ту сторону не поворачивайте, прочитайте молитву и отправляйтесь своей дорогой. Радости, которые разделит с вами добрый народ, горьки, а от его даров на душе тяжело.

Так и повторялось из раза в раз, пока однажды на рынке, возле коровьего загона, Мортин Каванох, школьный учитель, — раздражительный, брюзгливый старикашка, — не опроверг мнение Дарби самым решительным образом.

— Погоди-ка, погоди-ка, Дарби, — ехидно протянул он, ухватив Дарби за воротник. — А про волшебного крошку башмачника, лепрехауна, ты что, забыл? Не станешь же ты спорить, что поймать лепрехауна — удача из удач! Если не сводить с лепрехауна глаз, то он признает себя твоим пленником, и, пока ты не спускаешь с него взгляд, можешь делать с ним что хочешь: в обмен на свободу он исполнит три любых желания.

Тут Дарби снисходительно и надменно улыбнулся и проговорил, устремив взгляд в пустоту, над головами собравшихся:

— Упаси тебя Господь, честный человек, требовать что-нибудь у лепрехауна! Пообещать-то он пообещает, но потом как начнет плутовать, да шутки над тобою шутить, да еще столько условий нагородит до исполнения желаний, что ты в его обманах увязнешь, точно в болоте, будь ты даже мудрее всех на свете!

Прежде всего, если хоть на мгновение отведешь взгляд от волшебного башмачника, и ахнуть не успеешь, а его уже и след простыл, — поучал Дарби. — Батюшки, а потом, если он даже и исполнит три твоих желания, все равно тебе от них толку мало, ведь стоит рассказать кому-нибудь о лепрехауне — и желания растают как снег. А если в тот же день произнести вслух четвертое желание, те три, что пообещал исполнить лепрехаун, рассеются как дым, были — и нет их. Так что послушайте моего совета, не связывайтесь, не якшайтесь и не водитесь с фэйри!

— Это точно, — поддержал Дарби верзила Питер Мак-Карти. — Вот было дело, шел как-то Барни Мак-Брайд майским утром на раннюю службу, заметил под изгородью лепрехауна — тот знай себе орудует шилом да иглой — и поймал его. «Возьми-ка щепотку моего табачку, Барни, агра[48]», — сказал лепрехаун и с этими словами протянул ему крошечную табакерку. Но едва незадачливый Барни наклонился взять понюшку, как этот маленький мерзавец запустил табакерку прямо ему в лицо. И пока бедняга чихал и моргал, лепрехаун одним прыжком взвился в воздух и затерялся в камышах.

А вот еще Пегги О'Рурк, она честно поймала лепрехауна в зарослях боярышника. На какие хитрости и уловки он ни пускался, она таки заставила его исполнить три ее желания. Само собой, она знала, что стоит ей только упомянуть о лепрехауне, как чары рассеются и ее желания не исполнятся. Вот она кинулась домой, а сама сгорает от нетерпения узнать, чего больше всего на свете хочется ее мужу Энди.

Распахнув дверь, она прямо с порога закричала:

— Энди, душа моя, чего бы ты хотел больше всего на свете? Только скажи, и твое желание исполнится!

А в это время под окном выкрикивал свои товары бродячий торговец: «Фонари, жестяные фонари!»

— Хочу такой фонарь! — не подумав, ляпнул Энди, нагнувшись к камину за угольком — разжечь трубку. И надо же! — в руке у него тотчас, откуда ни возьмись, оказался жестяной фонарь.

Пегги разозлилась оттого, что муженек так легкомысленно потратил одно из ее бесценных желаний на никчемный жестяной фонарь, и пришла в ярость.

— Ах, чтоб тебе пусто было! — завопила она в исступлении. — Чтоб этот фонарь повис у тебя на кончике носа!

И не успела она выкрикнуть свою угрозу, как на кончике носа у Энди и впрямь закачался жестяной фонарь, и сорвать его никакими силами не удавалось. Пришлось Пегги, чтобы избавить Энди от этого непрошеного украшения на носу, пожертвовать своим последним желанием.

— Смотри-ка, вот голова! — восхищенно загалдела собравшаяся вокруг Дарби толпа. — Он же с самого начала так и говорил!

Спустя некоторое время к Дарби стали приходиться люди из окрестных деревень и, расположившись под стогом сена, возле хлева, просить у нашего героя совета по всяким важным вопросам — когда подкладывать под наседок яйца, как лечить колики у детей и многим другим.

Любой, кому выпало на долю такое восхищение и обожание, волей-неволей возгордится, а потому неудивительно, что и Дарби утвердился во мнении, будто он — человек незаурядного ума.

Отныне говорил он медленно, растягивая слова, на собеседника глядел прищурившись и ходил, гордо расправив плечи как и полагается человеку незаурядного ума. Он несказанно полюбил ярмарки и всякие публичные собрания, где толпа благоговейно ловила каждое его слово, и если прежде хоть как-то терпел тяжелую работу, то нынче вовсе проникся к ней величайшим презрением.

Так его самоуверенность неуклонно перерастала в гордыню, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы одним злосчастным утром Дарби не отказался выполнить просьбу своей жены Бриджет и принести в дом корзину торфа, заявив, что находит такую работу унижительной.

Не успел он проговорить последние слова, как осознал, что произносить их явно не стоило, — он что угодно отдал бы, чтобы они не слетали с его уст.

На мгновение воцарилась полная тишина. Бриджет не спешила набрасываться на него с упреками, а напротив, хранила грозное молчание. Она стала в дверях, уперев в бока кулаки и плотно сжав губы.

Она смерила Дарби с головы до ног, а потом в обратном направлении, с грубых

башмаков до макушки, взглядом, какой Юлий Цезарь, вероятно, бросил на горничную, застигнутую им, когда она воровала сахар из комода.

А вот потом Бриджет разразилась градом бесконечных упреков и обвинений, перемежая их громами брани и молниями проклятий.

Человек незаурядного ума пытался сохранить самообладание, притворяясь, будто стряхивает пылинки со шляпы, но сердце у него ушло в пятки.

Бриджет начала легко и непринужденно, с простого перечисления всем известных слабостей и недостатков Дарби. Затем она перешла к порокам не столь хорошо известным и даже, по мнению Дарби, вовсе ему не свойственным. Но эти-то пороки как раз и вызывали у нее самое серьезное осуждение. Пока Бриджет осыпала его оскорблениями, он не сказал ни слова — лишь улыбался надменно и печально.

Вполне естественно, что после этого Бриджет припомнила: вот-де за какое жалкое создание она вышла замуж, хотя ее руки просили шестеро, один другого лучше, и выйди она за кого-нибудь из них, стала бы благородной леди. А уж потом, что совершенно неудивительно, она сосредоточилась на изъянах, слабостях и несчастьях его близких родственников, особенно подробно остановившись на мерзостях, творимых его пятиюродным братом Филимом Мак-Федденом.

Даже сейчас, переживая невероятное унижение, Дарби не мог не восхищаться ее памятью.

К тому времени как Бриджет перешла к восхвалению и прославлению собственных родственников, в особенности своей тети Гонории О'Шонесси, которая однажды пожала руку епископу, а во время восстания 1798 года запустила кирпичом в проезжавшего мимо лорда-наместника, Дарби притих и с несчастным видом втянул голову в плечи, словно побитая собака.

За эти минуты Дарби совершенно утратил гордость, которой преисполнился в последние месяцы. Большие, тяжелые капли гордости так и стекали по его бедному лбу.

И вот как раз когда Бриджет, покончив с тем, что отец Кэссиди называет избилиями... как бишь его? — изобличением, то есть дойдя до той сцены, когда твоя жена, перечислив, на какие жертвы она ради тебя пошла и какие унижения ей пришлось вытерпеть от твоей родни, наконец не выдерживает и начинает безудержно и безутешно рыдать и тем самым сражает тебя наповал, — так вот, как раз когда Бриджет, как я уже упомянул, перешла к заключительной части выступления, Дарби поглубже натянул шляпу, заткнул уши и, одним прыжком оказавшись у двери, пустился бежать по дороге в сторону гор Слив-на-Мон — только его и видели.

Бриджет так и застыла на пороге, глядя ему вслед, — она просто дар речи утратила от изумления. Все еще зажав уши, чтобы не слышать, как Бриджет приказывает ему: «А ну вернись сейчас же!» — он долетел до ивы возле кузницы Джои Хулигэна. Там он решил остановиться и передохнуть.

Стоял один из тех погожих, радостных осенних дней, что, кажется, позаимствовали шляпу и легкий сюртук у мая. Солнце, ласково светившее на небе среди легких белоснежных облаков, кажется, склонилось поближе к земле, словно для того, чтобы поведать ей несколько шуток, а золотистые сжатые поля и поросшие лиловым вереском холмы, мирные, точно погруженные в ленивую истому, словно улыбались ему в ответ. Даже черный дрозд, прыгавший с ветки на ветку в зарослях боярышника, поглядел на тех, кто ходил по земле, и пропел: «Храни вас Господь!» И тотчас откуда-то сладкоголосой трелью откликнулся

вьюрок, пожелавший и ему того же.

Наблюдая столь чудное зрелище, наслаждаясь столь замечательными видами и пением птиц, наш герой и не замечал, как шло время, пока не взобрался на первый холм в Слив-на-Монской гряде, именуемый, как всем известно, Свиным Рылом.

Однако оказалось, что Свиное Рыло облюбовал не только он, и потому пришлось ему снова спуститься в долину и податься на второй холм — Подушку Дьявола, совершенно пустынный и уединенный, любо-дорого посмотреть.

Спрятавшись от солнца в тени под деревом, он уселся в густой высокой траве, закурил трубку и предался размышлениям. Но вскоре обнаружил, что, о чем бы он ни подумал, его мысли неизменно, вспорхнув, точно стайка вспугнутых фазанов, возвращались к дерзостям, которые нагородила Бриджет о его дорогих родственниках.

«Ну разве не лживая, злоречивая женщина?! — думал он. — Какие страшные, клеветнические оскорбления обрушила на изысканных, утонченных О’Гиллов и О’Грейди!»

Вот взять хотя бы его дядю, Валлема О’Гилла, служившего главным дворецким в замке Брофи, — неужели он не был известен по всей стране своей ученостью и неужели не мог похвастаться самыми стройными ногами в Ирландии?

И потом, разве Дарби не слышал собственными ушами, как вышеупомянутый Валлем О’Гилл, показывая Бриджет картинную галерею в замке Брофи, объявил ей, что в незапамятные времена О’Гиллы царствовали в Ирландии?

Правда, Дарби совсем запамятовал, до или после потопа это было. Бриджет предположила, что, наверно, во время потопа, — ну что за вздор, право.

Тем не менее Дарби догадывался, что его дядя Валлем нисколько не ошибся, ведь сам он не раз ощущал в себе тягу к величию. И сейчас, сидя в одиночестве на траве, он громко произнес: «Будь по-моему, так я бы весь день палец о палец не ударил, восседал бы на троне и играл бы в спойлфайв[49] с лордом-наместником и тремя генералами. Не родился еще на свете знатный человек, который бы любил попировать и славно выпить больше, чем я, и не терпел бы рано вставать по утрам. А нерасположение рано вставать, как мне говорили, — явное свидетельство благородного происхождения».

Вот родня Бриджет, все эти О’Хейгены и О’Шонесси, — так, ничего особенного, а с виду и вовсе невзрачны. Его, Дарби, собственные дети унаследовали красоту именно от него и его родных. Даже отец Кэссиди соглашался, что дети пошли в О’Гиллов.

«Случись мне разбогатеть, — сказал Дарби, обращаясь к большому ленивому шмелю, гудящему под самым его носом, — я бы выстроил замок вроде Брофи, с настоящей картинной галереей. На одной стене повесил бы портреты О’Гиллов и О’Грейди, а на противоположной — портреты О’Хейгенов и О’Шонесси».

При мысли о столь восхитительной мести душа его преисполнилась радости. «Родня Бриджет, — продолжал он, хмуро поглядывая на шмеля, — покажется в сто раз вульгарнее, чем она есть на самом деле, в сравнении с моими собственными родственниками. И всякий раз, стоит только Бриджет напуститься на меня с упреками, я буду приводить ее туда, чтобы показать, что́ есть мой клан и что́ — какой-то там ее, и как следует ее наказать, — вот провалиться мне сквозь землю».

Сколько Дарби просидел так, согревая сердце замыслами сладкого отмщения, он и сам не знал, но вдруг — тук, тук, тук — его мечты прервал стук маленького молоточка, доносившийся из-за поваленного дуба.

— Черт меня побери! — воскликнул Дарби, вздрогнув. — Как пить дать, это же

лепрехаун!

В следующее же мгновение он стал на четвереньки, закинув полы сюртука на спину, и бесшумно пополз в ту сторону, откуда долетал стук. Тихо, как мышь, заглянул он за поросший мхом поваленный ствол — и его изумленному взору предстало удивительное зрелище.

На белом валуне, с бешеной быстротой вгоняя гвозди в подошву крошечной, вполовину меньше большого пальца, красной туфельки, расположился лысый старый башмачник, ростом не более двух пядей. На его широком курносом носу красовались очки в роговой оправе, а квадратный подбородок обрамляла короткая и пышная белоснежно-седая борода. Он носил бурый кожаный передник, такой длинный, что почти скрывал его зеленые бриджи до колен и серые вязаные чулки.

Лепрехаун — ибо это действительно был лепрехаун — без устали вбивал сапожные гвозди и непрестанно причитал, в великой досаде сетуя на судьбу: «Ох и горькая участь мне выпала! Разве успею я закончить работу к вечернему балу? То-то она разгневется и велит меня казнить! Была ли на свете хоть одна королева фэйри, которая так любила бы башмачки, и сапожки, и бальные туфельки? И горькая же участь мне выпала...»

И тут, подняв глаза, он увидел Дарби.

— Доброго вам дня, достойный господин! — воскликнул башмачник, вскочив на ноги.

И тут же испуганно вскрикнул, указывая на живот Дарби.

— Ой, ой, что это за мерзкая мохнатая тварь ползет у вас по жилету? — повторял он, притворяясь чрезвычайно взволнованным.

— Оставь мой жилет в покое, — хладнокровно откликнулся Дарби, — и не думай, что тебе удастся меня провести, — я ни за что не отведу от тебя взгляд, вот ни на секундочку.

— Ну что ж, а как насчет этого? — рассмеялся башмачник. — Смотри-ка, быстро же он разгадал мой замысел, ловок, ничего не скажешь! А не хочешь ли понюшку табаку, хитрец? — спросил он, протягивая Дарби табакерку.

— А не этим ли табачком ты когда-то потчевал Барни Мак-Брайда? — язвительно переспросил Дарби. — А ну хватит шутки шутить! — пригрозил наш герой, осерчав. — Немедленно исполни три моих желания, а не то закопчу тебя, как селедку, в собственном дымоходе еще до ночи.

Тут лепрехаун понял, что тягаться с человеком столь незаурядного ума, как Дарби, проку нет, сдался и пообещал Дарби исполнить три желания.

— Ну и чего же ты хочешь? — протянул лепрехаун с хмурым и недовольным видом.

— Прежде всего, — объявил Дарби, — хочу фамильный замок, он должен быть похож на замок Брофи, с картинной галереей и с портретами всех моих родственников, а на противоположной стене чтобы висели портреты всех родственников Бриджет.

— Это желание я исполню, эту услугу я тебе окажу, — сказал волшебный башмачник, очертил на земле шилом контуры замка и проворчал: — Дальше что?

— Хочу столько золота, чтобы хватило мне, моим детям, внукам и самым отдаленным потомкам и чтобы мы жили в роскоши до конца времен.

— Вечно им золото подавай, — ухмыльнулся лепрехаун и, наклонившись, нарисовал на земле шилом туго набитый кошелек. — А теперь третье, и последнее желание. Не торопись, подумай хорошенько!

— Хочу, чтобы замок воздвигся на холме Подушка Дьявола, на том самом, где мы сейчас стоим, — провозгласил Дарби. А потом обвел рукой окрестные земли и добавил: —

А это пусть будут мои владения!

Лепрехаун воткнул шило в землю.

— Это желание я исполню, эту услугу я тебе окажу, — пообещал он.

С этими словами он выпрямился и, мрачно усмехнувшись и окинув Дарби с головы до ног насмешливым взглядом, предупредил:

— Ты малый не промах, воистину человек незаурядного ума, но остерегайся произнести вслух четвертое желание!

Эти слова лепрехауна прозвучали не как дружеское предостережение, а как угроза и вызов, и потому Дарби прищелкнул пальцами и воскликнул:

— Не бойся, малыш! Если мне предложат всю Ирландию, я и тогда не произнесу вслух четвертое желание, даже самое пустяковое, до наступления ночи! Пойду-ка домой за Бриджет и детьми, а если я чего и опасуюсь, так это того, что ты не сдержишь слово, — вот вернусь я сюда, а замка-то и нет!

— Ого! Так, значит, мне не верят? — возмущенно закричал лепрехаун, тотчас придя в раскаленную добела ярость.

Он мигом вскочил на бревно, отделявшее его от Дарби, и, заложив одну руку за спину, погрозил Дарби кулаком.

— Вот невежа, вот мерзавец, в чем меня подозревать вздумал! — завопил он. — Как это у тебе подобных хватает наглости говорить подобные дерзости мне подобным?! Если хочешь знать, среди лепрехаунов я пользовался репутацией одного из самых правдивых и надежных, если не самого правдивого и надежного, когда тебя еще и на свете не было! И я не потерплю, чтобы со мной разговаривал таким тоном жалкий крестьянин, который боится собственной жены, когда она в гневе!

— Сразу понятно, что ты холост, — презрительно ответил Дарби, — потому что, если бы ты...

Но тут Дарби потерял дар речи от изумления и волнения, потому что дальний склон холма у него на глазах стал приподниматься и опадать, точно огромное зеленое одеяло, которое вытряхивают, взяв за концы, две женщины. В это же время с вершины холма по обеим сторонам повалились пласты торфа, выравниваясь с пластами торфа внизу. Волшебные силы уже приступили к возведению замка. Величественные старые деревья в небольшой рощице проворно склонили кроны, и тотчас чья-то гигантская невидимая рука с корнем выдернула их из земли и бросила, словно хозяйка — сорняки в огороде.

Земля под ногами у человека незаурядного ума задрожала и вздыбилась. Более он ждать не стал. Не то с радостным, не то с испуганным возгласом он повернулся и кинулся бежать обратно в долину, а лепрехаун, взгромоздившись на бревно, выкрикивал ему вслед оскорбления и всяческую брань.

Дарби пребывал в таком неопишемом волнении, что, взбегая на холм Свиное Рыло, едва успел увернуться от множества красно-бурых кирпичей, медленно и степенно, словно стадо перегоняемых овец, спускавшихся с холма, — но двигались они точно по воздуху, не согнув ни одной травинки и не сломав ни одной веточки.

Только однажды, на вершине Свиного Рыла, Дарби решился оглянуться.

Подушку Дьявола, казалось, взбивают чьи-то невидимые руки: она на глазах меняла очертания, а потом по ней пронесся какой-то вихрь — то ли пыль, то ли туман, — Дарби не разобрал.

После этого Дарби уже не оглядывался, не смотрел ни налево, ни направо, а понесся

прямо домой, пока, задыхаясь и отдуваясь, не добежал до двери в собственную кухню. Ему понадобилось целых десять минут, чтобы отдышаться, но когда он наконец сумел выдать: «Бриджет, собирайся побыстрее, бери детей, и не мешкая ступайте со мной на Подушку Дьявола!» — эта замечательная женщина обошлась без обычных «это еще зачем», да «почему», да «с какой это стати» и тотчас принялась одного за другим умыть детей.

Может быть, она несколько переусердствовала с мылом, было у нее такое обыкновение, но ни один из маленьких героев даже не захныкал. А она в свою очередь не проронила ни слова — ни доброго, ни гневного, ни какого-нибудь еще, — пока вся семья, по двое, точно солдаты на марше, не зашагала по тропинке к холмам.

Когда они приблизились к первому холму, сумерки уже сгустились, багровый закат сменился буровой полутьмой, а на вершине Свиного Рыла на них внезапно обрушился крошечный мрак. Дарби немного обогнал маленькое шествие и, облокотившись на большой валун, венчавший холм, стал в тревоге вглядываться в очертания Подушки Дьявола. Он, разумеется, ожидал увидеть что-то грандиозное и величественное, однако открывшееся его взору зрелище поистине его потрясло.

За узкой долиной, на вершине второго холма, на фоне вечернего неба перед ним предстали очертания огромного замка, с донжоном, башенками, зубчатыми парапетами и стрельчатыми арками. В его черных стенах было прорезано множество окон, и в каждом горел неяркий красноватый свет. Куда там до него замку Брофи!

— Узри, — воскликнул Дарби, величественным жестом вскинув руку и обращаясь к жене, только что поднявшейся на холм, — узри же древний замок моих пращуров, сиречь предков!

— О какой это речи предков, да еще с каким-то там прищуром, ты помянул? — немедля откликнулась Бриджет с неподражаемым презрением.

Дарби хотел было возразить, но в это мгновение откуда-то справа, со склона холма, раздалось шелканье кнута, стук колес и конский топот, и — подумать только! — большая темная карета с сияющими фонарями, запряженная четверкой вороных, взлетела на вершину холма и остановилась рядом с ними. На козлах смутно виднелись двое призрачных слуг.

— Лорд Дарби О'Гилл? — спросил один из них низким, глухим голосом.

Не успел Дарби и рта раскрыть, как Бриджет его опередила.

— А как же! — воскликнула она, приободрясь. — И леди О'Гилл, и их дети!

— Тогда поторопитесь! — велел кучер. — Ужин остывает.

Не дожидаясь приглашения, Бриджет распахнула дверцы кареты и, оттолкнув Дарби, прыгнула на шелковые подушки. Дарби, закипев от злости при виде такой дерзости, одного за другим посадил в карету детей, а потом сел сам.

Он никак не мог взять в толк, что за странная перемена произошла с его женой, ведь она всегда слыла самой скромной, тихой, стеснительной женщиной во всем приходе.

Не успели хлопнуться за Дарби дверцы кареты, как, взвившись в воздух, щелкнул кнут, лошади поднялись на дыбы, карета подскочила на месте, и они понеслись вниз по склону холма. Свет еще не видывал такой бешеной езды! Дарби судорожно вцепился в дверную ручку, прижавшись носом к оконному стеклу. Он никак не мог понять — то ли четверка вороных летит по воздуху, не касаясь земли, то ли карета падает с холма в долину. Судя по тому, как сосало у него под ложечкой, они все-таки падали. Дарби как раз силился припомнить какую-нибудь молитву, и тут карету так тряхнуло, что он опрокинулся навзничь, головой на подушки, а ноги его едва не уперлись в крышу. Однако едва он

выпрямился, как колеса закрипели на посыпанной гравием дорожке, и вот они уже взлетают на соседний холм.

Проехали они, впрочем, немного — кучер натянул вожжи, и карета с резким толчком остановилась. Сквозь туман Дарби различил, как отворяются высокие кованые ворота.

— Пошевеливайся, — произнес чей-то голос откуда-то из тени. — Их ужин остывает.

Когда они понеслись дальше, под высокую величественную арку, Дарби удалось немного разглядеть существо, которое отворяло ворота и сказала, что их ужин остывает. Оно стояло на задних лапах и напоминало то ли льва, то ли медведя — в темноте Дарби не мог сказать наверняка.

Он углубился в размышления на эту тему, как вдруг, со скрежетом колес развернувшись на месте, карета остановилась снова, и всех, кто в ней был, подбросило на подушках. На сей раз перед ними открылся вид на широкую лестницу, которая вела к парадному входу в замок. Дарби не без испуга вглядывался сквозь тьму в пятно падавшего из холла света, смутно различимое где-то высоко-высоко. На пороге почтительно склонились трое ливрейных лакеев.

— Торопитесь, торопитесь! — печально произнес один из них. — Их ужин остывает.

Услышав эти слова, Бриджет проворно выскочила из кареты и взбежала по лестнице, преодолев едва ли не половину ступенек, прежде чем Дарби успел схватить ее за локоть и заставил дожждаться детей.

— Никогда в жизни она так не куражилась, — сказал он себе, чуть не плача и пытаясь взять ее под руку.

Наконец они стали чинно подниматься по ступенькам, а за ними парами, мал мала меньше, взбирались дети, пока Дарби, восхищенно ахнув, не замер на пороге роскошного холла. Под высоким потолком, покачиваясь и колеблясь в ослепительном свете люстр, висели флаги всех мыслимых и немыслимых стран и народов. По обеим сторонам холла лицом друг к другу выстроились шеренги вышколенных лакеев и горничных, сплошь в шелке, атласе и парче, — все они непрестанно кланялись, улыбались и махали руками в знак приветствия. Ряды слуг тянулись по всей длине холла, до подножия золоченой лестницы в дальнем его конце. На мгновение глаза у Дарби округлились не хуже чайных подносов, и он замер от смущения. Однако потом приободрился и произнес:

— Что это я так разволновался? Черт побери, или это не мой замок? Разве не я плачу всем этим слугам жалованье? Бьюсь об заклад, вся эта роскошь обходится мне недешево. — С этими словами он гордо расправил плечи. — Пойдем, Бриджет! Войди же в дом моих предков!

И тут, не успел Дарби войти в пышный холл, как точно из-под земли выросли двое волынщиков с волынками, двое скрипачей со скрипками и двое флейтистов с флейтами, одетые в алые с золотом костюмы, и под сладостную музыку семейство О'Гилл гордо прошествовало по холлу, поднялось по золоченой лестнице в дальнем его конце и наконец вошло в самый большой и роскошный зал, который Дарби приходилось видеть.

Внутренний голос прошептал ему на ухо, что это картинная галерея.

— Клянусь святым Петром! — пробормотал человек незаурядного ума себе под нос. — Не хотел бы я сейчас оказаться на месте Бриджет даже за пригоршню золотых монет! Вот подожди, придется тебе сравнить свою бедную родню с моими благородными родственниками! Догадываюсь, что она почувствует, а вот хотел бы я знать, что скажет!..

При мысли о том, что уж теперь-то Бриджет будет посрамлена и он наконец-то

расквитается с ней за всю клевету, за все поклепы и облыжные обвинения, он преисполнился гордости и едва ли не блаженства.

Но увы! Дарби стоило бы припомнить совет, который он так щедро давал приятелям, и не связываться, не якшаться и не водиться с фэйри, потому что в картинной галерее ему предстояло впервые испытать коварство лепрехауна.

Портреты там, конечно, висели, как и положено, однако они весьма отличались от тех, что бедняга воображал в своих радужных мечтах. По левую руку висели изображения величественных, благородных и надменных родственников Бриджет, и все О'Хейгены и О'Шонесси, запечатленные на портретах, могли поспорить с самыми прекрасными, гордыми и изысканными аристократами на свете. Какой удар для нашего героя! Однако судьба уготовила ему худшие испытания. С портретов, висевших на противоположной стене, злобно косились хмурые О'Гиллы и О'Грейди, все как один оборванные, жалкие, подлые людишки, ни дать ни взять воры и мошенники, только что выпущенные из тюрьмы или еще не успевшие туда попасть. И все это были родственники Дарби.

Почетное место на правой стене занимал портрет пятиюродного брата Дарби, Филима Мак-Феддена, и на запястьях у него красовались наручники. Валлем О'Гилл на портрете самым возмутительным образом косил правым глазом, а ноги у него были кривые, точно обручи, что набивают на бочку.

Если вам случалось пробираться ночью по комнате в кромешном мраке и неожиданно налететь лбом на угол открытой двери, так что искры из глаз посыпались, тогда вы поймете, что чувствовал в эту минуту человек незаурядного ума.

— Унесите прочь эту картину! — хриплым голосом приказал он, как только к нему вернулся дар речи. — И не будет ли кто-нибудь любезен представить мне художника? Я намерен его казнить. От сотворения мира не было еще косоного О'Гилла.

Вообразите его потрясение и ужас, когда и левый глаз Валлема О'Гилла в ту же минуту медленно скосился к носу, еще хуже правого.

Притворившись, будто этого не видит, и втайне надеясь, что никто более этого не заметил, Дарби, едва сдерживая ярость, повел свою маленькую процессию к противоположной стене.

И тут его взору предстал великолепный портрет Гонории О'Шонесси, одетой в костюм из железных пластин, вроде тех, что в старину носили рыцари, — кажется, он называется доспехи.

В руке она сжимала копьё с маленьким флажком на острие и улыбалась гордой, надменной улыбкой.

— И этот портрет отсюда уберите! — велел весьма раздосадованный Дарби. — Не пристало женщине появляться на людях в таком наряде!

Однако в следующее мгновение Дарби просто онемел от возмущения, потому что изображенная на портрете Гонория О'Шонесси открыла рот и показала ему язык.

— Ужин остывает, ужин остывает! — провозгласил кто-то в дальнем конце картинной галереи.

Тяжелые двери распахнулись, и наш бедный герой с облегчением последовал за музыкантами в столовую, где был подан ужин.

Столовая оказалась небольшой комнатой, отделанной белоснежным сверкающим мрамором, — с множеством зеркал и тысячами сияющих свечей. Стол ломился под тяжестью изысканных блюд — тут вам и редис, и морковь, и жареная баранина, и

всевозможные другие яства, названий и не упомнишь, не говоря уже о фруктах и сладостях, — но не будем попусту тратить слов.

Для каждого члена семьи был приготовлен стул с высокой спинкой, и какое же трогательное зрелище они являли, рассевшись по местам, — Дарби во главе стола, Бриджет в конце, дети замерли в торжественном молчании по левую и по правую руку, а позади выстроилась вереница важных лакеев в напудренных париках и с кружевными жабо.

Они могли бы тотчас приступить к трапезе, и в самом деле, у Дарби на тарелке появился кусок вареной говядины, но тут он заметил рядом со своим местом маленький серебряный колокольчик. Примерно в такие колокольчики знатные люди звонят, веля принести еще горячей воды для пунша, но человек незаурядного ума был явно озадачен, и тут-то и начались его беды и злоключения.

«Хотел бы я знать, — подумал он, — не используют ли этот колокольчик так же, как на скачках в Кёррахе, не звонят ли в него, чтобы все честно приступили к еде и питью одновременно, а потом в ознаменование конца трапезы, когда хозяин дома решит, что все уже наелись? Что и говорить, странные у знатных лордов обычаи! Не скоро я их выучу».

Так он и сидел молча, в нерешительности уставившись на вареную говядину, опасаясь приступить к еде, не позвонив, и боясь позвонить. Важные слуги с высокомерным видом возвышались за каждым стулом, вздернув нос и окаменев без движения, однако они украдкой бросали на Дарби и его семейство такие презрительные и надменные взгляды, что Дарби трепетал, опасаясь выказать себя невежей.

Наш герой сидел так, терзаемый тревогой, снедаемый затаенным стыдом и сомнениями, и тут над его плечом склонилась голова в напудренном парике, и тихий, вкрадчивый голос произнес:

— Не желает ли ваша милость еще чего-нибудь?

Простоватый Дарби завертелся на стуле, открыл было рот, собираясь то-то сказать, посмотрел на колокольчик, покраснел, подцепил вилкой кусочек вареной говядины и, чтобы скрыть смущение, ляпнул:

— Мне бы щепотку соли, с вашего позволения!

Едва эти слова слетели у него с языка, как раздался страшный грохот. Гром и молния, просто оглушительный грохот! В то же мгновение погасли все огни и воцарилась абсолютная, трепещущая тьма. Отовсюду — и сверху, и слева, и справа — доносился вой, гул и рев, словно буйствующий, обезумевший океан обрушился на побережье Керри в сезон зимних бурь. В этом страшном, оглушительном шуме можно было с трудом различить грохот осыпающихся стен и треск разламываемых труб. Однако всю эту адскую какофонию перекрывал пронзительный, насмешливый голос лепрехауна. «Мудрец соизволил произнести вслух четвертое желание!» — завывал он.

Дарби, оглушенный множеством голосов, которые на все лады бранили и поносили его в крошечной тьме, в это время валялся на спине, изо всех сил пытаясь сбросить кого-то, кто не давал ему встать на ноги, но тщетно: его точно пригвоздило к полу, да и глаза открыть он не мог.

— Бриджет, душа моя, ты жива? — кричал он. — Где дети?

Внезапно рев, гул и грохот сменились зловещей тишиной, таящей в себе какую-то угрозу и испугавшей Дарби больше, чем весь адский шум.

Прошла целая минута, прежде чем он решился открыть глаза и посмотреть в лицо ужасам, которые его ожидали. Однако когда, собравшись с духом, он все-таки приоткрыл

один глаз, то обнаружил, что кругом ночь, что лежит он на холме, что на темном небе показался тоненький молодой месяц и что прямо над ним подрагивает одна-единственная крохотная золотая звездочка.

Дарби с трудом поднялся на ноги. От замка камня на камне не осталось, ни один пласт торфа, казалось, никто и не трогал, и все волшебство маленького башмачника исчезло, рассеялось как дым. Те самые деревья, которые не далее как вечером с корнем выдернула чья-то невидимая рука, смутно выделялись в лунном свете неясной купой как ни в чем не бывало, и в их ветвях распевал соловей. На бревне, за которым вечером прятался лепрехаун, печально стрекотал кузнечик.

— Бриджет! — позвал Дарби, потом еще и еще.

В ответ только ухнула где-то поблизости сонная сова.

И тут Дарби точно громом поразило: а что, если лепрехаун похитил Бриджет и детей?

Бедняга повернулся и в последний раз за день кинулся бежать по ночной долине.

Он мчался не разбирая дороги, не обходя ни луж, ни оврагов, как никогда в жизни, — и мчался до тех пор, пока не остановился, задыхаясь, у дверей собственного дома.

С замиранием сердца заглянул он в окно. Дети от мала до велика сгрудились вокруг Бриджет, которая сидела у огня, прижимая к груди младшенького, укачивая его и напевая колыбельную с видом совершенного блаженства.

Дарби глядел на нее, и на глазах у него выступили слезы радости. «Благослови ее Господь! — сказал он вслух. — Разве она не краса О'Хейгенов и О'Шонесси и не жемчужина О'Гиллов и О'Грейди?»

Хорошо, что эта счастливая мысль как-то приободрила Дарби, когда он поднимал щеколду и переступал порог, ведь самый коварный подвох злобного лепрехауна еще только ждал его: ни Бриджет, ни дети не помнили о замке, карете и сказочной роскоши решительно ничего. Все они готовы были поклясться, что с самого утра не отлучались дальше собственной картофельной грядки.

Дэвид Расселл Макэнелли-младший

МОГИЛЬЩИК ИЗ КЭШЕЛА

По всей Ирландии, от Корка до Белфаста, от Дублина до Голуэя, раскиданы руины церквей, аббатств и монастырей, свидетельства навсегда ушедшего в прошлое богатства, великолепия и процветания. Иногда эти руины, не утратившие благородства даже среди распада и запустения, возносят свои зубчатые башни и высокие стены над жалкой деревней, населенной нищими крестьянами. Иногда они возвышаются на холме, откуда открывается окрест величественный и прекрасный вид. Иногда эти старые камни вздымаются на островке посреди небольшого озера, из тех, что, подобно изумрудам в оправе более насыщенного зеленого оттенка, украшают сельский пейзаж и придают неповторимое очарование местности, равной коей не сыскать на свете.

Давным-давно не оглашали эти священные стены ни скорбные молитвы, ни хвалебные гимны, и сейчас их навещают лишь иностранцы с проводниками да скромные процессии крестьян, несущие своего родственника к месту последнего упокоения на освященном погосте. Ведь хотя церковь и лежит в руинах, земля в ней и рядом с нею по-прежнему остается святой и служит последним пристанищем тому, кого с благоговением провожают близкие, кто освободился от последнего бремени, выплакал последние слезы и уступил последнему врагу. Однако среди печальных зрелищ, коих немало предстанет перед созерцателем в этой несчастной стране, ни одно не вызывает столь грустных размышлений, как сельское кладбище. Величественно высится здание полуразрушенной церкви, с горделивыми башнями и стрельчатыми окнами. Внутри сохранились изваяния и гробницы знаменитых ирландцев — королей, принцев и епископов, тогда как под стенами теснятся могилы бедноты — кое-где их могильные холмики почти сровнялись с землей, а кое-где вздыбились, точно маленькие горки. На некоторых могилах стоит деревянный крест из грубо обструганных круглых колышков или древесных ветвей, единственная дань памяти, которую смогла отдать дорогим усопшим бедность, и все могилы — и знатных людей, и простых крестьян — поросли сорной травой и крапивой.

— Само собой, никакого могильщика у нас и в помине нет, — ответил на мой вопрос возчик Джерри Мегуайр. — Мы сами роем могилы, когда надобно похоронить родича, а бывает, что две траурные процессии учиняют на погосте драку, если им случается столкнуться. Почему? Право, не пристало нам говорить о возвышенных вещах без должного почтения, но в народе верят, будто последний погребенный должен носить воду душам, томящимся в чистилище, пока его не сменит следующий. Вот потому-то, видите ли, ежели случается встретиться двум погребальным процессиям, каждая норовит похоронить своего покойника первой и спровадить другую, вот они и учиняют драку. Воистину, ирландцы любят кулаками размахивать, хлебом не корми, такой уж у них злосчастный нрав. Но видеть, как могилы зарастают крапивой да бурьяном, а церковные стены рушатся, и вправду тяжело. Мало найдется старых церквей и кладбищ, за которыми следит могильщик, а тем более так тщательно, как могильщик в Кэшеле. Ей-ей, он там весь бурьян выполол, ни одной сорной травинки не оставил, точно козы подъели.

Что это за могильщик из Кэшела? Клянусь, я его всего-то раз и видел, он тогда вынырнул на минуту из-за угла, а я в это самое время выходил из часовни святого Кормака. Я в Кэшел тогда отправился принести покаяние, беспокойно у меня на душе было, а все из-за

свиньи, прибившейся к моему стаду в пору забоя. Но видел я его только мельком, он и вообще днем редко показывался, службу свою отправлял ночью, а я не из тех, кто решится взобраться на Скалу Кэшел[50] после захода солнца. Вряд ли тут обретаются демоны... Нечистые духи ведь не смеют ступить на освященную землю ни днем ни ночью, но все же как-то боязно — от одной мысли, что можешь встретить привидение, не по себе делается. Кто их знает, добрые они, злые, разбирай потом. Даже святым и блаженным случалось обмануться, а где уж мне, бедному грешнику, тщиться с ними сравняться. Но с виду был он длинный и худой, согбенный, словно на спине у него ноша, недаром люди говорили, благослови его Господь, что на душе у него тяжело... А глаза у него были большие, голубые, смотрит на тебя и вроде не видит, точно в потусторонний мир заглядывает. Ну, я не то чтобы со Скалы кубарем скатился, но и не степенно сошел, а эдак бочком, бочком, а сам все посматриваю краем глаза, где он... Он вроде и не сродни нечистому или еще что-нибудь такое, но кто его знает, право, — храни нас Господь от всяческого зла...

Родом он был из графства Клэр, звали его Падди О'Салливан, и жил он у проезжей дороги, что связывает Крушин и Эннис. Говорят, в молодости был он парень хоть куда, ладный да пригожий, во всей округе такого не сыскать: высокий, стройный, глаза такие — взглянет на девицу — сердце точно пронзит, она враз и пропала, кулак точно кузнечный молот — в драке против него ни один не выстоит, сложен на диво, проворен — в танцах ему тоже равных не было. Чуть не половина всех женщин в приходе по нему вздыхала. Такой он был красавчик, девицы ему просто проходу не давали, вечно они бегают за такими, я и сам знаю, как это бывает. Зря вы улыбаетесь. Это у меня теперь голова лысая, точно куриное яйцо, и последний зуб не сегодня завтра выпадет, а когда-то я и сам мог выбирать ту, что краше. Те, кто меня сорок лет тому назад знали, не дадут соврать. О чем бишь я? Да, о том, что девицы по Падди сохли, стоило хоть какой-нибудь завидеть его на дороге, как она тотчас бросалась за изгородь пригладить волосы да поправить платок на голове. А на танцах Падди первым приглашал приглянувшуюся девицу, и только потом делали свой выбор остальные парни. А девицы еще той, которая Падди по душе пришлась, косточки перемывали. Да, наградил же Господь женщину острым язычком, острее зубцов у бороны! Мне ли этого не знать, недаром же я дважды женат был и немало от женщин натерпелся, и, с вашего позволения, если бы мужчины знали, на что идут, когда женятся, то, поверьте, старых дев в Ирландии точно прибавилось бы.

Долго ли, коротко, перестал Падди бегать за юбками, а по-моему, так даже и надежнее, и стал засматриваться на одну-единственную девицу. Звали ее Нора О'Мур, и была она смышленная, второй такой между Лимериком и Голуэем и не найти. Была она молчаливая, бледная как полотно, волосы черные как вороново крыло, а глаза задумчивые, глядят на тебя, а видят ли, нет — бог весть... И неразговорчивая она была: вот начнет Падди перед нею соловьем заливаться, она слушает, опустив глаза, а как станет он ей уж очень докучать своими байками да хвастовством — только взглянет на него, и Падди враз поймет, что ничего-то ему лестью да похвальбой не добиться. Не мог он разгадать, что у нее в душе творится, да и вообще, что ни говори, мужчинам женщин понять мудрено. Бывают такие тихие реки, и вся их тишина — оттого, что глубоки... А больше тихих да мелких, вот на них ряби и нет... Но откуда нам-то знать, пока мы их не измерили, а о тихой женщине и вовсе судить трудно. Но вот Нора-то как раз и была такая глубокая река, достойная девица, лучше не придумаешь. Падди ей тоже приглянулся, но она скорее дала бы руку себе отрубить, чем в этом призналась. Что ж, Падди от нее не отставал, но сперва просто хотел за ней

приволокнуться, а потом, когда понял, что не очень-то она его сладким речам верит, влюбился по-настоящему, так, что жизнь за нее был готов отдать. Пропал, точно с головой в болото ухнул, что и говорить. Но вот по душе ли он Норе хоть сколечко, никак он взять в толк не мог. Не странно ли, если мужчина думает, что женщине он приглянулся, так он тотчас дает стрекача, точно заяц, только его и видели. Но вот зато если он ей вовсе безразличен, ей-богу, он в лепешку разобьется, чтобы только ее завоевать. Вот и у Падди с Норой так было, только он и не подозревал, что она по нему тоже вздыхает.

Как-то вечером он провожал ее домой с танцев, не выдержал и сказал, что она, мол, ему дороже жизни и не выйдет ли, мол, она за него. А она тогда спросила, что ж, мол, он шутки шутить вздумал, но он тут ее перебил и стал уверять, что ему без нее белый свет не мил, как же она сомневается, и тогда она вся затрепетала, сначала побледнела еще больше, а потом зарделась от радости и сказала «да». Тут они поцеловались и решили, что уж теперь-то все их невзгоды позади. Что ж, так с влюбленными всегда бывает, и грех их за это осуждать, так уж исстари повелось.

Но все оказалось не так-то просто, и все из-за отца Норы, старого мерзавца, каких поискать, подлости из него так и сыпались, точно мука из прохудившегося мешка. Домашние страдали от его гнусных выходок, он и самого дьявола переплюнул. А тут он еще проиграл те немногие деньги, что у него водились, в карты да на скачках, нрав у него сделался и вовсе невыносимый, и стал он вымещать злобу на жене и на дочери. Других детей в семье не было, и поговаривали, когда случалось ему напиться до чертиков, он принимался избивать жену и дочь и даже выгонял их из дому, нимало не беспокоясь о том, что с ними станет ночью. Но они никому об этом не рассказывали, разве что соседи замечали синяки.

И вот когда О'Муру сказали, что дочь его встречается с Падди и даже собирается за него замуж, старик точно спятил от ярости, потому что был он гордый и спесивый, что твой павлин, и, хотя сам-то высоким происхождением похвастаться не мог, уперся и ни за что не хотел породниться с Салливанами, как жена и дочь его ни умоляли.

— Что ж, я не против, — повторял он, — вот только у Падди за душой ни гроша, он беден как церковная мышь, а я хочу, чтобы Нора сделала хорошую партию.

А все потому, что он сам подыскал Норе жениха, парня из Типперери, сына богатого фермера, у которого были обширные земли, а овец на них паслось столько, что и не перечесать. Паренек из Типперери был хоть куда, вот только глуп как пробка, а когда приехал на смотрины, тупо пялился на Нору, не говоря ни слова, а потом заснул и захрапел, стучаясь головой о стену. Но невеста ему понравилась, так что его отец и О'Мур живо сладили дело за стаканчиком виски и объявили о помолвке.

— Батюшка, да я же его не люблю, — в слезах говорила Нора.

— Хватит глупости болтать, — приказывал ей отец. — Буду я слушать твои просьбы да уговоры, если на кону больше ста овец. Я бы не отдал шерсть с них за всю любовь в графстве Клэр.

И так он положил конец всем пререканиям.

Нора рассказала обо всем Падди, и он поклялся, что не отдаст ее ни одному жениху в Типперери, владей он всеми овцами в Ирландии. Они решили пожениться во что бы то ни стало, какие бы препоны ни чинил им старый О'Мур. Правда, Норе это было не по душе, ведь она всегда вела себя достойно, никогда не пропускала мессу и была послушной и заботливой дочерью. Она открылась матери, получила ее благословение, и отныне совесть ее успокоилась.

Но когда О'Мур не пьянствовал, он был хитрее лиса, а это случалось всякий раз, когда у него кончались деньги на выпивку, и вот как раз наступили такие времена. Он принялся следить за Норой и что-то заподозрил. Поэтому он притворился, будто поутих, но в следующий приезд Мёрфи (так звали фермера из Типперери) уговорился с ним, что привезет Нору в Типперери в следующую среду, потому что в этот день Падди Салливан собирался отлучиться на ярмарку в Эннисе, и там они немедля обвенчают Нору с глупым фермерским сыном. Старый Мёрфи пообещал прислать за ними повозку, и они условились обо всех подробностях. И вот в среду, около полудня, старик О'Мур говорит Норе: «Поспеши, дочка, да принарядись как следует, сейчас Мёрфи пришлет за нами повозку — поедем на ярмарку».

Нора не хотела ехать, потому что к вечеру намеревался вернуться Падди, да и отцу не слишком доверяла. Но О'Мур все торопил и торопил ее, повторяя: «Поспеши, а не то опоздаем!» — и ей ничего не оставалось, как подчиниться. Наконец прибыла и повозка Мёрфи, на козлах сидел мальчик-возница, и О'Мур потихоньку, так, чтобы Нора не слышала, спросил его, не хочет ли он пойти на ярмарку, и мальчик ответил, еще как. О'Мур отпустил его, сказав, что сам будет править, и пообещав забрать его на обратном пути. Мальчишка убежал, О'Мур и его дочь сели в повозку и поехали. Когда они добрались до развилки дорог, О'Мур повернул в сторону Типперери.

— Да вы ошиблись, батюшка, — удивилась Нора. — Мы же не туда едем.

— Это точно, — согласился старый обманщик, — но я решил навестить приятеля, а на дорогу на Эннис мы выедем потом, с другой стороны.

Нора приумолкла, но когда поняла, что они все едут и едут и неизвестно, куда их путь лежит, снова стала задавать вопросы.

— Батюшка, вы же не в Эннис меня везете! — не выдержала она.

К этому времени они уже проехали немало, и старый мерзавец понял, что ему ее не обмануть.

— Это точно, — подтвердил он, — мы едем в Типперери, там тебя тотчас обвенчают с мистером Мёрфи, и посмей мне только голосить да сетовать, уж я тебе задам, — добавил он со злобным видом.

Сначала Норе показалось, что сердце у нее разорвется.

— Батюшка, быть не может, чтобы вы обошлись со мною так жестоко, помилосердствуйте! Я с ним зачахну, как больное деревце! — И она попыталась соскочить с повозки, но отец вцепился ей в руку мертвой хваткой.

— Ну-ка, тише, — прошипел он. — Посмей мне перечить, и я тебя убью. Ты — мое единственное спасение от тюрьмы, я ведь в долгах, а Мёрфи мне поможет. Само собой, — добавил он, немного смягчившись, когда увидел ее побелевшее лицо и несчастные, умоляющие глаза, — само собой, тебе с Мёрфи будет неплохо. Он тебя любит, почему бы и тебе его не полюбить... И потом, овцы-то какие!

Однако Нора в ответ не проронила ни слова, замерла в отчаянии и только с обреченным видом глядела в пространство. Она хранила молчание, твердо решив скорее умереть, чем выйти за Мёрфи, но пока не придумала, как ей сбежать, улучив благоприятную минуту.

Случилось так, что старик О'Мур впопыхах перепутал дороги и, когда они доехали до развилки, откуда одна дорога вела на Типперери, а другая — на Кэшел, направил коня в сторону Кэшела. Конь попытался было повернуть домой, на Типперери, но О'Мур натянул вожжи, огрел коня кнутом и заставил его идти в сторону Кэшела. Ей-богу, не знал он, что, оставь он скотинку в покое, она бы и сама смекнула, куда идти, ведь лошади куда

смышленнее, чем нам кажется. Вот эта моя лошадка — с виду кляча клячей, а везла меня как-то ночью из Бэлливоэна в Лисдун-Варну — темно было, хоть глаз выколи, — и возле старого полуразрушенного форта как припустит галопом, не иначе эльфов почуяла. Ну ладно, эту историю я как-нибудь потом расскажу, я это только к тому, что надо бы О'Муру в лошадях лучше разбираться.

Вот они и поехали по дороге на Кэшел, а тут еще старик принялся гнать коня, потому что уже вечерело. А сам все вертел головой и дивился, как это он этих мест не узнает, хотя и бывал до того разок в Типперери. Спустя некоторое время он совсем махнул рукой и признал, что заблудился. Проезжих он тоже спрашивать не хотел, только отвечал на приветствия «храни и вас Господь», потому что боялся, как бы Нора не подняла шум. А тут еще и дождь стал накрапывать, и, выезжая из-за холма, они увидели прямо перед собой Скалу Кэшел и на ней — знаменитые церкви, и только тогда О'Мур остановился.

— Что ж, если это не Кэшел, — воскликнул О'Мур, — я съем свою шляпу! Далеко же мы заехали!

Нора в ответ не сказала ни слова, и он хотел было повернуть на Типперери, но тут заметил, что конь совсем выдохся.

— Значит, поедем в Кэшел, — объявил О'Мур, — найдем там постоялый двор и остановимся на ночлег, а завтра утром вернемся! То-то нам сегодня не посчастливилось!

Не доезжая до Скалы, они увидели у дороги опрятный постоялый двор и остановились там на ночь. О'Мур вышел задать корму коню, оставив Нору греться у очага, а когда вернулся — и нескольких минут не прошло, — ее и след простыл.

— Где моя дочь? — стал допытываться он у служанки.

— Право, и не знаю, — ответила та. — Только что вышла за дверь.

Старик О'Мур бросился за ней, и не иначе как сам дьявол ему помог, потому что он тотчас кинулся в нужном направлении. Никто не знает, что между ними произошло, упокой их Господь, только когда прошло несколько часов, слуги постоялого двора отправились искать их с фонарем и нашли лишь их следы на дороге, что ведет к реке. Кто-то заметил на крутом речном склоне платок Норы, изорванный в клочья, и множество следов, словно они боролись, он хотел удержать ее и не мог. Потом следы вели на самый берег бурной реки, в которую местный ручей превратился из-за дождей, к самому краю обрыва. И далее следы исчезли: только большой пласт земли на том месте обрушился в воду. Потому слуги в ужасе перекрестились и пошли восвояси, бормоча молитвы за упокой их души.

На следующий день их нашли, в целой ирландской миле ниже по течению. Старый О'Мур одной рукой вцепился в платье Норы, а другой словно держал ее за ворот, так что шея и спина у бедняжки были почти что голые. Нора судорожно вытянула руки перед собой, как видно любой ценой пытаюсь убежать, и лицо у нее совсем побелело, а в больших, навеки потускневших глазах застыло отчаяние, да смилуется над ее душой и над всеми нами Господь.

Похоронили их достойно, со свечами, саванами и заупокойной службой, и поминки устроили как полагается, потому что их история обошла всю округу, и все жители Кэшела оплакивали бедняжку Нору. Кто только не съехался на погребение — и О'Брайаны из Энниса, и О'Муры из Крушина, и Мёрфи и их друзья из Типперери, даже из Клонмела. На поминках подавали изобильные яства и крепкое виски, щедро оделяли всех пришедших, — так жители Кэшела старались выказать старинное ирландское гостеприимство, ведь Нора и ее отец нашли в Кэшеле свою погибель, и они полагали, что должны достойно проводить их

в последний путь. На похороны пришли графства Клэр и Типперери до последнего бродяги, пригласили трех знаменитых плакальщиц, одну из Энниса, другую из Типперери, а третью из Лимерика. Они славили и чествовали Нору весь день и всю ночь, до самого погребения. Нору похоронили первой, в часовне святого Кормака, прямо возле могилы архиепископа, а О'Мура как можно дальше от ее могилы, у самой стены, чуть ли не под камнями, возле больших ворот, тех, что слева, и никто из скорбящих не сказал о нем ни единого доброго слова.

Бедняга Падди не ходил ни на поминки, ни на похороны, потому что, как только ему передали печальную весть, он точно в какой сон наяву погрузился, и родня не могла его пробудить. Потом он стал снова работать свою работу, а сам тихий, будто не от мира сего. Но вот дней этак через десять и говорит он матери: «Матушка, прошлой ночью ко мне приходила Нора. Встала рядом со мной, положила руку мне на лоб и велела мне идти в Кэшел и никогда более с нею не разлучаться». Тут его мать от страха стала сама не своя, решила, что Падди повредился умом. Как ни старалась она его утешить, все было тщетно: ночью он пропал. Родные как-то проследили, что он добрал до Кэшела, но там он от них ускользнул и спрятался, так что в конце концов они от него отступились. Днем он скрывался где-то среди камней и спал, а ночью ему являлся призрак Норы, сидел рядом с ним на камнях часовни и под арками собора, и он стал ухаживать за ее могилой, а потом и за могилами всех, кто вечным сном спал на Скале. С друзьями он всякую связь утратил, но жители Кэшела стали приносить ему хлеб и картошку и оставлять на видном месте. Тем он и кормился. Так он прожил на Скале шестьдесят один год, никуда не отлучаясь, иногда показывался и днем, во время очередных похорон, повторял: «Вот и еще мне друг будет» — помогал скорбящим, и ни одно кладбище в Ирландии не содержалось в таком образцовом порядке, как погост в Кэшеле.

Когда он состарился и научился говорить с миром духов, Нора стала приходить к нему каждую ночь и приводила с собой других призраков — королей и архиепископов, что покоятся в Кэшеле. Находились среди жителей Кэшела и те, кто собственными глазами видел, как старик опирается на руку Норы и как он беседует с духами мертвецов, некогда доблестных и славных. Однажды его нашли на могиле Норы, холодного и бездыханного, и похоронили рядом с нею, упокой Господь его душу. Там он и спит вечным сном, прости ему Господь.

Говорят, будто он был всего-навсего бедный старик, один из нищих духом, но и ему воздастся за его кротость, ведь среди ангелов убогим и презренным лучше, чем среди смертных.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

notes

Стиль короля Якова — архитектурный стиль, относящийся к эпохе правления Якова I (1603–1625). Отличительные черты подобной архитектуры — колонны, пилястры, круглые аркады, плоские крыши, рустовка и такие элементы декора, как волюты, фризy, гербы. — *Примеч. перев.*

Лаплас Пьер-Симон (1749–1827) — знаменитый французский математик.

«Опыт теории конических сечений» (1640) — трактат французского религиозного философа, писателя и математика Блэза Паскаля.

«Качающиеся часы, или О движении маятника» (1673) — труд голландского астронома, физика и математика Христиана Гюйгенса.

«Начала» («Математические начала натуральной философии», 1687) — основополагающий труд математика и физика Исаака Ньютона.

«Основы теории кватернионов» (1860) — работа ирландского математика Уильяма Роуана Гамильтона.

«Термодинамика» — работа американского физика и математика Джозайи Уилларда Гиббса, созданная в 70-е гг. XIX в.

В оригинале перефразирована строка «Поэмы о старом моряке» С. Т. Колриджа (1798) «He holds him with his glittering eye». Использован русский перевод поэмы, выполненный Н. С. Гумилевым.

Килмейнхем — тюрьма в Дублине, построенная в 1796 г. Килмейнхемский замок служил местом заключения или казни многих ирландских патриотов. В частности, в разные годы там содержались Роберт Эммет, графиня Маркевич, Эймон де Валера, участники Пасхального восстания 1916 г. В настоящее время Килмейнхем — мемориальный музей ирландской истории.

Имеется в виду лорд Эдвард Фицджеральд (1763–1798), ирландский аристократ, борец за освобождение Ирландии от британского владычества. Одна из наиболее романтических личностей в ирландской истории: герой англо-американских войн, последователь Жан-Жака Руссо, отважный путешественник, в одиночку пересекший почти неизвестную европейцам Канаду и снискавший уважение и признательность индейцев. Друг и собеседник наиболее утонченных ирландских интеллектуалов той эпохи. Некоторое время жил во Франции, где воспринял идеи Французской революции и стал страстным республиканцем. На родине примкнул к политическому обществу «Объединенные ирландцы», готовившему восстание 1798 г., и принял деятельное участие в национально-освободительной борьбе. Был объявлен вне закона английскими властями, устроившими на него настоящую охоту. Выданный предателем, лорд Эдвард оказал ожесточенное сопротивление при аресте и впоследствии умер от ран в тюрьме.

Речь идет о дворце Лейнстер-Хаус, резиденции графов Лейнстерских, к династии которых принадлежал и лорд Эдвард Фицджеральд, о котором идет речь в новелле.

В новелле упомянут Дублинский Замок, основной административный центр Ирландии, в период британского владычества — резиденция лорда-наместника, назначаемого английским правительством. Во время описываемых событий в нем размещались также казармы дублинского гарнизона и полицейское управление.

Мойра-Хаус — дублинский дом графов Мойра, симпатизировавших повстанцам.

Сарсфилд Патрик, граф Лукен (ок. 1650–1693) — ирландский аристократ, приближенный короля Якова II Стюарта. Во время войны за английскую корону, как и большинство ирландцев, сохранил верность католическому правителю Якову II и выступил против претендовавшего на английский престол Вильгельма Оранского, протестанта, представителя голландского королевского дома. Упоминаемый в рассказе эпизод — реальный исторический факт: Сарсфилд нанес поражение частям армии Вильгельма Оранского возле местечка Бэллинити, между Лимериком и Типперери, в 1690 г.

Eiah, wisha — ирландское восклицание, выражающее удивление и тревогу, что-то вроде «батюшки».

Arrah — ирландское междометие, выражает изумление, досаду, примерно соответствует русскому «это еще что?», «вот незадача».

Asthora (*ирл.*) — дорогой, мое сокровище.

Асуишла (*урл.*) — дорогая (дорогой), душа моя.

Мавурнеен (*ирл.*) — моя милая, душенька.

Тринити-колледж (или Дублинский университет) — главное высшее учебное заведение Ирландии, где в XIX в. обучались преимущественно протестанты.

Голдсмит Оливер (1730–1774) — англо-ирландский писатель, драматург, эссеист. Наиболее известные произведения — роман «Векфильдский священник» (опубл. в 1776 г.), комедия «Ночь ошибок» (1773), поэма «Покинутая деревня» (1770).

Мавурнеен (ирл.) — моя милая, душенька.

Асуішла (*урл.*) — дорогая (дорогой), душа моя.

Речь идет о Великом голоде, разразившемся в Ирландии в 1845–1850 гг. после неурожая картофеля и ставшем огромным бедствием из-за недальновидной экономической политики британских властей. Он явился истинной национальной катастрофой — унес жизни около миллиона ирландцев и заставил еще один миллион эмигрировать в США, Австралию и Новую Зеландию.

Arrah — ирландское междометие, выражает изумление, досаду, примерно соответствует русскому «это еще что?», «вот незадача».

Аумадһаун (*ирл.*) — безумец, безумная.

Whisht (*урл.*) — тише.

Правление Георга I и Георга II приходится на 1714–1760 гг.

Революцией автор называет серию якобитских восстаний, вспыхнувших в Ирландии между 1688 и 1746 гг. и имевших целью вернуть английский престол королю Якову II Шотландскому (Якову II Стюарту).

Такое название получила ирландская армия якобитов под командованием Патрика Сарсфилда, в 1691 г. по соглашению с Вильгельмом Оранским переправившаяся во Францию и ставшая частью французской армии.

Соответствует латинскому имени Ультор («мститель»), которое носил в одной из своих ипостасей древнеримский бог войны Марс.

От ирландского *frahan* — черника.

Здесь: благородная дева (*лат.*).

Nom de terre (*фр.*) — название поместья, ленного владения, имени, которое прибавляется к имени владельца.

«Shule, shule, shule, aroon» («Приди, моя возлюбленная», «Приди, мой возлюбленный») — одна из наиболее известных ирландских народных песен. Существует в разных вариантах, чаще исполняется от лица девушки, тоскующей по возлюбленному. Была написана, очевидно, в конце XVII в., когда после поражения в битве на реке Бойн армия ирландских якобитов отправилась в изгнание во Францию.

Речь идет об исторических событиях — о попытке древней ирландской аристократии освободиться от английского владычества, прибегнув к помощи католической Испании. В 1601 г. Хью О'Нил, граф Тиронский, и Хью О'Доннел, заручившись поддержкой испанцев, подняли мятеж в графстве Корк, на юге Ирландии, но были разбиты превосходящими их силами англичан в битве при Кинсейле.

Фрэнсис Дженнингс, в первом браке леди Гамильтон, во втором — герцогиня Тирконнелская (1647–1731), — знаменитая светская красавица, основательница монастыря Бедной Клары в Дублине.

Крокер Томас Крофтон (1798–1854) — собиратель ирландской поэзии и фольклора, составитель известных сборников ирландских легенд и преданий, много сделавший для сохранения ирландского языка и культуры.

Видимо, речь идет о Генри Граттане (1745–1820), ирландском политическом деятеле, адвокате, блестящем ораторе, члене палаты общин ирландского парламента, добившемся предоставления ряда политических прав ирландским католикам.

Д'Онуа Мари Катрин, графиня (1650–1705) — французская писательница-сказочница.

«Hibernia Pacata» («Ирландия усмиренная, или История недавних войн в Ирландии» 1633) — книга английского полководца Джорджа Кэрю, участника завоевательных походов королевы Елизаветы, где подробно излагается история сопротивления аристократических ирландских родов Ормонд и Десмонд английскому владычеству в 1569–1583 гг. Лорд-наместник, потерпевший поражение от графа Десмонда, — возможно, Генри Сидни.

Схалкен Готфрид (1643–1703) — голландский художник.

Ирландские кампании — войны между сторонниками Вильгельма Оранского и Якова II Стюарта, закончившиеся поражением последнего в сражении на реке Войн в 1690 г. и закрепившие зависимость Ирландии от Англии.

Доу Герард (Геррит; 1613–1675) — известный голландский художник, ученик Рембрандта, прославившийся главным образом своими жанровыми картинами.

Подлинные слова (*лат.*).

Сейнт-Стивенз-Грин — аристократический район Дублина, расположенный вокруг одноименного парка.

Аэндорская волшебница, согласно библейскому преданию, вызвала по просьбе царя Саула дух пророка Самуила (1 Цар. 28).

Agra (урл.) — дорогой.

Спойлфайв — ирландская карточная игра для пятерых участников.

Скала Кэшел (Rock of Cashel) — утес в графстве Типперери, на котором расположен знаменитый комплекс средневековых сооружений, главным образом церковных. Включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.